

Ирина СТАЛЬКОВА

Шестеро в доме, не считая собаки

Вместо предисловия

Крошечный уютный мир — отец, мать и ребенок — существует дня два — от приезда из роддома до первого торжественного выезда с коляской на прогулку. Вот подошел к этому «первому персональному транспорту» соседский пятилетний малыш: что это там, в кружевах, сопит? Как отреагирует молодая мама: «Отойди, у тебя руки грязные» или «Правда, хороший?» Прогнать чужого пока очень легко, можно и вообще занавесить коляску от посторонних взглядов, но ведь не удастся всю жизнь прятать нового человека, да и самой маме не скрыться в гнездо, в нору, в берлогу.

Гордая и счастливая мать привезла своего месячного первенца первый раз в поликлинику. «Таня, Таня, — закричала участковая врачиха медсестре, — иди скорей, смотри, какой урод!» Умница и красавец, с маминой точки зрения, урод, с точки зрения врача, спокойно сосал пустышку и наблюдал за происходящим, что-то мотал на будущий ус, а что-то пропускал мимо розовых ушек.

«Ну этого не может быть, — сказал мне редактор, — нам никто не поверит, что ребенка при матери назвали „урод“, да еще где — в детской поликлинике».

Дело в том, что этой молодой матерью была я сама. А столкнулась я с этой «психотерапией», вернее, мы с сыном столкнулись, еще до его рождения. В приемном покое роддома я спросила врача, осматривающего меня (потому спросила, что начиталась и наслушалась леденящих душу историй о неправильных положениях ребенка и ужасно боялась), так вот я спросила, замирая от страха: «Доктор, у него голова внизу?» На что врач безмятежно ответила мне: «А у него вообще нет головы, здесь только спинка и мелкие части». Как говорится, «не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку».

И что значит опыт! Когда меня осматривали перед рождением пятого ребенка, вдруг врач испугалась: «Боже мой, что это — у ребенка две головы?!» И я снисходительно улыбнулась ей: «Не бойтесь, доктор, вот это — голова, а вот это — попка!»

Пройдет немного времени, и ребенок окажется не только членом семейного коллектива, но и завсегдаем песочницы, впервые осознает, что он — личность, что он может иметь, может отнять и заставить сделать по-своему. Или наоборот: у него могут отнять, его могут заставить.

Серьезные малыши копают песочек — какая умилительная картинка! «Давайте игЛать в детский сад», — предлагает девчурка. И берет на себя главную роль воспитательницы. Деловым голосом: «Ну-ка вы, недоношенные, стЛойтесь быстЛее!» Дефекты речи, будем надеяться, в садике выправят, но самое ли это главное? И что сделают мамы, обсуждающие в сторонке что-то интересное: режим питания? Вчерашний телефильм? Отношения с мужем?

Иногда след в душе ребенка может оставить вообще случайный человек, случайный эпизод. Как-то у нас потерялась пятилетняя Аська. Пошла гулять во двор и пропала. Искали всей семьей, обегали все соседние дворы, наконец я решила спросить соседку, не видала ли она девочку. Звоню, оказывается, Аська у нее. И соседка мне и говорит: «А она сказала, что ее выгнали из дома». Я ахнула, потому что ничего даже похожего вообще никогда ни с кем в семье не было. А соседка говорит: «Я ее спрашиваю, мол, за что же, Асенька, выгнали. А она говорит: ни за что, просто так, выгнали совсем, и все». И тут я сообразила: днем раньше ко мне заходила бабушка с внучкой, живущие двумя этажами ниже, рассказывали о своих семейных неурядицах, плакали, а я их чаем поила, успокаивала, как могла. Сидели мы с ними на кухне, а Ася была в комнате, занималась своими делами, и вот, оказывается, что-то отложилось, примерила к себе малышка чужую взрослую беду. Она не лгала, хотя именно так восприняли ее поступок старшие дети, и мне пришлось объяснить им, что ругать ее не

надо, а надо успокоить: «Мы все тебя любим, тебя никто не может выгнать, ты наша девочка».

Из сада в школу, от проблемы к проблеме идет ваш ребенок, и вы мучаетесь и радуетесь вместе с ним, пытаетесь решить очередную педагогическую загадку: согласиться ли, что у него учительница «крокодилица», или прочесть ему мораль о необходимости вежливого отношения к взрослым?

И все-таки мир ребенка — не проходной двор, где кто угодно может пройти, не вытирая ног, дети хорошо чувствуют границы этого мира — открытого всем ветрам, хрупкого, прозрачного, но недоступного даже для близких.

Помню, мы шли с шестилетним Саней, четырехлетней Настей и двухлетним Ваней в гости, и я по дороге «накачивала» ребят: «Ведите себя прилично, говорите „здравствуйте“, не хватайте со стола руками, что нужно, спросите с „пожалуйста“». Дети кивали головами на каждое мое поучение, но наконец, правила хорошего тона иссякли, а я все не могла остановиться: «И с хозяйским Вовой не деритесь». И тут же Настя поставила меня на место: «Ну уж с Вовой, мама, мы без тебя разберемся». Я запомнила этот урок, потому что не только мы учим детей, но и они нас.

Быть матерью — тоже профессия, и непрофессионально, по-моему, не пытаться защитить ребенка от злобы, от обид, от непонимания. Но и роль каменной крепости, куда дитя до старости бежит прятаться от дуновения ветерка, для матери тоже не подходит. Живые люди среди живых людей — наши дети и мы. Друзья друг другу и всем хорошим людям на свете. Когда детей в семье много, ситуации столкновений с окружающими повторяются: сын обидел, сына обидели, их можно предугадать, а, значит, иногда и предотвратить. Не этого ли хотят все мамы: хоть немного облегчить своим детям неизбежные, как синяки и насморк, конфликты с не очень-то ласковым и таким прекрасным миром? Детство, отрочество часто сравнивают с весной. И правда — весна. Песенка сверчка за печкой — символ домашнего тепла и уюта — остается в сердце до старости, но окно распахнуто, и из него веет холодком новых и сложных проблем. Мы держим за руку сына и дочь, а они держат за руку своих будущих детей. От нас зависит научить ребенка дружить, и любить, и быть родителем, и быть добрым, и стойким, и верным дому.

Семь принципов

Все семьи очень индивидуальны, каждая и хороша и плоха по-своему (не имею в виду семьи, где родители пьют и детьми не занимаются, — это особый разговор). Наша семья не лучше соседской, где хозяйство ведется гораздо разумнее и экономнее, не хуже семьи, например, моей подруги, где сын, войдя в дверь и бросив портфель, может на руках, не касаясь пола ногами, пройти по всей квартире: с турника на кольца, потом на качели и т. д.

А самые хорошие дети вырастают, мне кажется, в тех семьях, где на вопрос: «Как вы воспитывали детей?» — родители отвечают, как ответила Анна Тимофеевна Гагарина: «Никак».

И все-таки копилка родительской самодеятельности — не бесполезная вещь. Лично я всегда внимательно слушаю о всяких семейно-воспитательных находках (хотя далеко не всегда применяю их к себе, даже если они, на мой взгляд, хороши, — хороши, да мне не впору). И мне как-то жалко, что это в полном смысле народное творчество никому не нужно, оно, как соль в воде, растворяется бесследно в душах выросших детей, а его надо бы собирать, записывать, как записываем мы частушки — тоже вроде бы однодневки, мелочевка, а не случайно даже большие поэты учились у безвестных их авторов. Вот так и семейное педагогическое творчество: у меня песчинка, у кого-то камешек, крошка, крупинка, зернышко, стекляшка, безделица — вместе горсть родной земли.

Итак, моя семья: я и мои пятеро детей: Саня — 14 лет, Настя — 12, Ваня — 10, Маня — 8, Аська — 5 лет.

Я — преподаватель педагогического вуза, филолог, дети учатся, Аську пасем по

очереди — в сад она не ходит, как никто из детей не ходил.

Принцип первый: равенство. Дети — мои единомышленники, нам хорошо одновременно и плохо одновременно. Лучше в саду или хуже (я убеждена, что хуже) — там не так, как у нас дома, значит, нечего им там делать.

Мне трудно с малышом — нам всем трудно, но зато и радость первой улыбки, первого зуба — общая.

Даже новорожденная крошка имеет право на личное желание, но и я не прислуга при собственных детях.

Принцип второй, вытекающий из первого, — никаких соревнований. Да, я знаю, что победитель испытывает душевный подъем, но что испытывает побежденный? Никаких «Кто скорее съест? Кто быстрее прибежит? Кто лучше сделает?» — на мой взгляд, это педагогическое безобразие. Прибежал первым — молодец, но мое сердце всегда принадлежит слабейшему, и разве не этому надо учить детей — пожалеть, посочувствовать.

Я однажды ошиблась, нечаянно отступила от этого принципа, и до сих пор мне тяжело вспоминать об этом промахе. Мы тогда только что выписались с Манькой из роддома, с неделю, наверное, прошло, я укладывала спать старших детей (на тот момент Сане — 6, Насте — 4, Ване — 2) и рассказывала им бесконечную ежедневную сказку-импровизацию. Она всегда начиналась одинаково: «Жили-были папа-баран, мама-овца и четыре барашка (незадолго до этого их было три)». Ну а дальше шли каждый раз новые характеристики этих барашков и какое-нибудь свежее приключение. И вот я говорю: «Первый барашек — самый умный, второй — самый кудрявый, третий — самый ушастый, а четвертый, — тут я не знала, что сказать, уж очень он был мал, этот четвертый барашек, и сказала, — а четвертый был самый нужный». И вдруг старший — «самый умный» — разрыдался, а у меня захолонуло сердце: «Санечка, милый, ты тоже хочешь быть самым нужным?!» До сих пор стыдно — так ляпнуть! Все — самые нужные! Все — самые лучшие! И я, как любая мама — единственная на свете.

Принцип третий, вытекающий из второго, — никаких наказаний и никаких поощрений. Меня довольно часто спрашивают: «Ну неужели они никогда не делают ничего плохого?» Ну конечно, делают, как и все дети. И наказание бывает — мама рассердилась: «Безобразие! Противно смотреть! Уйди от меня сейчас же!» Но вот мы выяснили отношения, приняли какое-то решение насчет дальнейшей нашей жизни (извиниться, например, перед учительницей, которой сын нахамил, сделать контурную карту, которую не сделал вовремя, помириться с сестрой и т. д.), и все на этом заканчивается. Я не торгую любовью: если будешь хорошо себя вести — куплю то, если будешь плохо вести — отниму это. Если обещала купить — куплю независимо от поведения, а отнимать — вообще ничего не отняла ни у кого никогда. Дети удивляются: «Мама, какие странные бывают родители. Алёше обещали магнитофон, если он прорвется в 9-й класс».

Сын: «Ты подумай — „прорвется“!»

Дочь: «Ты подумай — магнитофон!»

Другая дочь: «А у нас Свете за хорошие отметки купили попугайчика, а теперь хотят его продать, потому что у нее появились тройки».

Старшая: «А Кате родители сказали — будет тройка в четверти, ни Нового года, ни дня рождения».

Каюсь, однажды я было попробовала наказать — отменить праздник — и не смогла — как это без праздника? Проступок, пусть и серьезный, — сегодняшняя неприятность, а мы хотим ее растянуть на целый год — день рождения, как известно, раз в году, и вот на целый год не будет праздника из-за какого-то пустяка. Как бы ни провинился ребенок, жизнь еще ой какая длинная, и его нынешние прегрешения, честное слово, пустяк по сравнению с будущими горестями и радостями. Обсудить и забыть — вот как мы будем бороться с плохим. Понять и простить — вот как мы будем растить хорошее. Неприятности оставим во вчера — радость запоним до старости.

Принцип четвертый, вытекающий из всех предыдущих, — все праздники общие и

все получают подарки на Санин день рождения, например, и гости тоже. Люблю дарить (ну и получать подарки тоже, конечно) и хочу, чтоб и тень зависти не коснулась моих ребятишек. Как хорошо, что мы есть, что нас много, что вот опять день рождения и за столом четырнадцать детей и пятеро взрослых. Дети сидят за «взрослым» столом в мой день рождения и мои друзья сидят за «детским» столом в день рождения Аси, например, — почему бы и нет? За взрослым столом не говорят ничего такого, что нельзя было бы детям слышать, независимо от того, есть они или нет рядом. Неужели наступит такое время, когда мои подростки скажут мне: «Пойди в кино, ко мне ребята придут!» Никогда мне не приходило в голову сказать это моим родителям, неужто мне предстоит это услышать? Пока мне сын говорит, когда речь заходит о его дне рождения: «А Агнесса Владиславовна придет? Я люблю, когда она приходит». Это моя школьная учительница — Агнесса Владиславовна.

Принцип пятый — «открытая педагогика». Говорят, что дети любят, чтоб их воспитывали «незаметно», как будто семья — сцена Большого театра, и можно талантливо притвориться, что испытываешь гнев, радость, тоску, безразличие, а на самом деле думать о том, что бы приготовить на ужин. Я не скрываю, какими я хочу видеть своих детей, не учу их хорошему «тайком», не делаю вид, что в моей жизни есть что-то важнее семьи. Как-то Саня поссорился с руководителем кружка судомоделизма, причем Санька был неправ и при этом чувствовал себя оскорбленным, встал в позу «страдальца». Смотрю — на одно занятие не пошел, на второе, уже надо на третье идти — он сидит. Спрашиваю, что это с ним. А он: «В конце концов это мое дело — ходить или не ходить в кружок». — «Верно, — говорю, — сынок, твое дело, а вот вырастешь ты нормальным человеком или надутым индюком, не способным понять и признать свою вину и исправить ее, — это уж мое дело, так что собирайся». Его как ветром сдуло (ведь, в сущности, в кружок-то ему хотелось, нужно было только уйти из «мертвой зоны», куда он сам себя загнал, и из ложного самолюбия не мог выбраться, так что я ему помогла).

«Мама считает, что мы никогда не должны халтурить», — говорит дочь. Это не ее тонкое проникновение в мои педагогические замыслы, я это говорю «открытым текстом»: «Мне не должно быть стыдно за вас, иначе получится, что вся моя жизнь пошла в мусоропровод».

Принцип шестой — «Мой дом — моя крепость», вернее «Наш дом — наша крепость». Однажды меня спросили: «Как вы боретесь с наркоманией и токсикоманией в вашей семье?» Еще чего не хватало! Никак, естественно, не борюсь по причине отсутствия таковых. У нас дома не пьют и не курят, не теряют голову из-за «заграничной» тряпки и не предадут друг друга. Какие бы семейные бури ни бушевали днем, вечером детская передача, а потом тихая ночь, когда выходит на прогулку еж Яша. Манька улыбается уже почти во сне: «Мама, Яша вы топал». Это взрослым мешает спать лесная колючка — дети спят и улыбаются, потому что и во сне продолжается «вечерняя сказка для малышей»: слышно, как Яшка зафыркал, прогоняя от миски с молоком кота Мышку. Теплый дом, куда можно пригласить друзей, притащить бездомного котенка, где можно взять с полки любую книгу, а если чашка и разбилась, то к счастью. Дети знают, что если я могу, то выполню любое их желание, если обещала, то уж постараюсь сделать. И они тоже стараются быть хорошими, а что не всегда получается — я прощаю им, как и они, бывает, прощают мне, когда я ошибаюсь.

Недавно у нас был такой смешной случай. Подняла я детей в школу, они умываются, гимнастику делают, а я на кухню пошла завтрак готовить. Захожу через какое-то время в спальню — Маняшка спит вовсю. Я аж взвилась: «Маня, ты что? Уже полвосьмого, опоздаешь!» Вытянула ее ноющую, сонную из постели, засунула в ванну, потом натянула на нее форму в темпе «presto», посадила за стол и посмотрела с удовольствием на дело своих рук — вот какая я молодец. А дети мне и говорят: «Мама, а Мане-то разве не во вторую смену?» Фу, как ушат воды за шиворот. Я уж извинялась-извинялась перед Манькой, пока она сама не начала смеяться, как я ее «быстро-быстро» поднимала.

Принцип седьмой, предшествующий первому, мои дети хорошие: мой ребенок взял

без спросу, но он не вор; он подрался, но он не злодей; получил двойку, но он не тупица. Такие разные — рассудительный Саня, увлекающийся судомоделизмом, химией (очень вонючее увлечение), кактусами; «вредная», живая, поэтичная Настя, очень по-взрослому рисующая на ткани; ласковый и неколебимо упрямый Ваня (кактусы, общие с Саней, а также птички, рыбки и лягушки, а также флейта и фортепиано); очень непохожая Маня (от страстной нежности до иступленного «не буду» по каждому поводу), любящая танцевать, музыку, любящая учить — благо, есть кого; Ася: «Это меня Ваня научил не плакать, когда больно», «Это меня Маня научила писать буквы», «Это мой Санечка пришел, Санечек» — и обнимает его за живот, и мне вдруг ночью сквозь сон: «Мама, я совершенно не могу без тебя жить».

Такие разные, такие одинаково беленькие, такие мои. Я смертельно боюсь, что не получится то, чего я хочу, что не смогу, не сумею, не сделаю. И не смею бояться: педагогика — работа бесстрашных, трусам нельзя иметь детей. Пройдет много лет, мои взрослые, даже почти старые дети соберутся за нашим историческим столом — что вспомнят они о своем детстве, а значит, и о моей жизни, когда меня не будет? Ах, как бы услышать! Сегодня, сейчас отдаю им себя на завтрашний суд и не могу не верить в их милосердие.

Режим дня

Ну а теперь я хочу рассказать, как вся эта семерка принципов работает на практике, как мы с ребятами прожили один обычный будний день — понедельник.

День начинается с вставания, а о вставании «как люди» договариваемся с вечера. Пока я готовлю завтрак, раза три-четыре пройду из кухни в комнаты: «Вставайте!» Ну конечно, Ваня уже в ванной, но не умывается, а сидит на краю ее, подставив руки под струю воды. Саня уже закончил делать гимнастику и постель убрал, а ванна занята. Сегодня блины «с дырками», Настя съест штуки четыре с удовольствием, а «без дырок» она не любит. «Скорей, надо торопиться» — это уже одетый и умытый Ваня доедает третий блин. Портфели собраны с вечера, одеваются (Настя доглаживает галстук: «Меня-то подождите!»). Я провожаю у двери: «Счастливо, ребята, приходите скорее!» Теперь поднимаю младших, потому что Мане, хотя и во вторую смену, но до школы надо успеть на музыку. Ну а Аська встает за компанию. «Репка, репка, где ты спишь?» — спрашиваю ее, почти как в стихотворении, только там «рыбка, рыбка, где ты спишь?», а у нас репка, потому что я ее сейчас вытяну; теплую, кругленькую. Манина очередь мыть посуду, но вдруг: «Ма-ама, но я еще математику не доделала!» И правда: вчера у нее был концерт в музыкальной школе, пришла поздно, замерзшая, и мы, вопреки обыкновению, не все уроки сделали. «Ну что ж, садись, а я пойду мыть посуду и буду приходить время от времени помогать». — «Ладно, мама, я выручу Маню» — это мне такой неожиданный подарок Аська делает, только и успеваю сказать: «Спасибо, детка», а она уже с грохотом тащит табуретку к раковине — без табуретки не достать до крана.

Итак, математика. Манька пишет и приговаривает время от времени вслух: «А теперь разделить. А тут умножить». Я стараюсь не упустить момент, когда она скажет неправильно: «Постой, постой, не пиши. Почему умножить?» — «А, значит, прибавить». Краем уха слушаю: стучаются друг о друга тарелки, льется вода. Краем глаза смотрю на часы: успеет, еще только через 15 минут выходить. Поставила последнюю точку и начала не торопясь собирать портфель, а я пошла поддержать морально Аську, она еще маленькая, ей попросту скучно мыть посуду долго, да и поставить сушиться она не может — сушка высоко. Пока ставлю тарелки, пою: «Маня, Маняша, скорее надевай форму! Где флейта? Где но-оты?» Главное — петь погромче, чтоб было слышно в комнате. Если учесть, что в детстве мне медведь наступил на ухо и вот уже вторую неделю, как я охрипла, то эффект потрясающий. Часто думаю, что мне повезло с соседями: с одной стороны квартира очень тихой старушки, а с другой — такая же семья, как моя: пятеро малышей, старший в 3-м классе, как моя Манька.

Так что наш шум как-то не очень мешает им. Отправляюсь с наконец-то собравшейся Марусей вниз: проводить, а заодно забрать газеты. И вот теперь мои законные 20 минут, а то и полчаса. Аська почти все вымыла, пошла менять птичкам воду, а я пью кофе и просматриваю газеты. Я люблю кофе и не люблю сладкое, люблю стихи и терпеть не могу математику, люблю животных и не переношу мыть посуду, люблю лето, и когда все дети дома, и свою работу, и еще печь пироги, зато не люблю стирать. По-видимому (во всяком случае, так считает моя мама), у каждого человека есть определенная норма на жизнь: столько-то постирать, столько-то вымести сора и т. д. Так вот моя жизненная норма по стирке, кажется, уже выполнена: десять лет я стирала ежедневно, невзирая на дождь и ведро, праздники и непраздники. А теперь дети подросли, а я обленилась, мышей не ловлю и все больше постирушки устраиваю, а на настоящую стирку поднимаюсь еле-еле, как Илья Муромец с печки. Сегодня день легкий: мне вчера повезло, я все купила в кулинарии и суп еще вчера сварила. Так что сижу и проверяю контрольные с пятого курса, попутно прислушиваюсь: не слишком ли тихо? Тишина — зловещая! — признак большой шкоды, но сейчас слышно, как Аська пытается читать, не пойму только что. А-а! «Ой-ган» — это, наверное, орган, она «Комсомолку» взяла и читает с самого начала. Звонок — это Саня. Суп на плиту, контрольные побоку, тарелки на стол все сразу, а попутно он мне излагает события дня: про лабораторную по химии и про то, что ему поручили приготовить голубой огонек, а он не знает, как взяться. Вкратце делюсь с ним воспоминаниями, как говорится, из опыта работы: последний звонок в том году, в позатом году, посвящение в студенты и т. п. «Поешь — поможешь мне, ладно?» — «Ладно» — уже с набитым ртом. Аська залезает на стул, а у него проваливается сидение — давно надо купить новые, эти уже невозможно чинить, да все не соберусь. Сажаю Саню диктовать мне оценки за контрольные, он время от времени удивляется: «Ого, сколько написано!» — «Санюша, я пошла. Ваню с Настей чем кормить, ты знаешь. Придут за бельем из прачечной, деньги и квитанция на столе. Очередь мыть посуду твоя, а потом Настина. У тебя сегодня кружок или клуб?» — «Ничего. Я буду модель клеить, нам мало задано». Я еще раза три позвоню с работы: «Шкода? Скандал?» Но сегодня ни того ни другого: Ваня поел, сделал уроки и со словами: «лечу, улетаю» — побежал в музыкальную школу, у него сегодня флейта. Белье забрали, как сообщила Аська, «без всяких разговоров». Настя пришла, по докладу Сани, в хорошем настроении, помыла посуду, уроки сделала и пошла в кружок. Она делает мне к Новому году такой батик — рисунок на ткани — дракона, только я этого не знаю, хотя, наверное, она не удержится, я сама не очень-то умею таить, если что хорошее у меня есть.

Пришла Маня с подружкой Машей. Саня поставил варить молочную вермишель. Пришел Ваня. Пришла Настя. Ушла Маша. Пришла я. Доедают мороженое, оставшееся со вчерашнего Саняного дня рождения — исполнилось ему 14, на флейте и фортепиано еще не играли, Настя рассказывает про кружок (про дракона ни-ни, хотя я вижу, что хочется рассказать), показывает какой-то необыкновенный пластилин, но надпись там по-немецки. Обещаю попросить бабушку перевести, когда поеду к ней. Саня — про полет «Союза ТМ-4» и про огонек. Настя загорается: «Я тоже тебе помогу». Аська уже залезла в постель, и конечно, в мою. Маня делает работу над ошибками по русскому, Настя проверяет, и удивительно! — они не ссорятся. Маня идет стирать свои колготки. Ванька играет на флейте, портфель собрал, постель еще не постелил. «Ваня, твоя очередь мыть посуду!» — «Не буду, я еще не доиграл». — «Ну что ж, — вздыхаю, — значит, моя очередь». И получаю второй подарок за сегодняшний день. Саня говорит: «Давай я вымою, раз Ваньку не допросишься». Ваня: «Спасибо, Сань, а завтра я за тебя помою, а то я устал и нога болит». — «Что с ногой?» — это для меня неприятная новость. «А-а, перетренировался», ну, будем надеяться, обойдется. Ване к среде нужен материал про Рокотова (задали реферат по изо — это в пятом-то классе!), Мане — завтра 1 руб. 80 коп. на подарки к Новому году, Насте — деньги на подстричься до четверга, Аське — только поцелуй, но зато срочно. Маня доигрывает на фортепиано, Настя легла и читает «Педагогическую поэму», Аська спит, Ваня тоже, Саня укладывается. «Спокойной ночи. Вставайте завтра, как люди!» Слышно ли другим эту

музыку: беззвучно дышат мои дети, кошка свернулась клубком, молча падает за окном снег. Чуть пискнул в своем гнезде Мистер Рочестер, устраиваясь поудобнее рядом со своей бесхвостой женой, у него тоже день прошел вполне нормально. Мышка, т. е. кошка, ни разу не залезла на шкаф с намерением, если не съесть его, то хоть попробовать. Спит математика, и чистая посуда, и одинокая варежка посреди комнаты, и плохо отжатые колготки на веревке, и все еще тайный дракон. «Ах, как вам трудно! — сочувствуют мне. — И зачем вам столько детей?» — «А чтоб посуду не мыть, товарищи! Очень я этого не люблю».

Учимся друг у друга

Каждый следующий ребенок приносит в семью гораздо меньше трудностей и больше радости, чем предыдущий. Когда Саня, мой первенец, был маленький, мне часто казалось, что двое детей — это невысказано, и когда родилась Настя, стало вдвое труднее. Зато третий как будто ничего и не изменил, никаких забот не прибавил, а уж пятая, Аська, принесла в нашу уже общую жизнь одну радость. Я учила детей ходить и есть ложкой, не вертеть ручки у газовой плиты и мыть посуду, а они меня — не ныть и не паниковать, когда происходит что-то экстренное, и делать по крайней мере 4 дела сразу, и ответственности, и умению реагировать на сущность, а не на форму. Вчера звоню домой: «Настя, ставь варить вермишель!» Она: «Ой, да отстань, мы все без тебя знаем, что есть — из того и сделаем. Занимайся своим делом». Ну, можно полезть в бутылку: «Как ты разговариваешь с матерью!» А можно — я так и делаю — улыбнуться: выросли мои ребята. Ведь они и вправду все сами сделают, они уже частично сняли с меня эту заботу: что готовить, как готовить — это уже «не мое дело».

Маня приходит из школы с подружкой Машей, я с ними здороваюсь и спрашиваю у Маняшки: «Что ты получила?» Она отвечает, я хвалю, а Маша мне и говорит: «А я пятерку по чтению». Это мне урок вовсе от чужого ребенка: подруга дочери не приложение к ней, а сама по себе человек. Теперь я всегда спрашиваю: «Как ваши дела?» Надеюсь, что это поможет мне, когда дети вырастут, женятся, замуж выйдут. Их будущие мужья и жены (сейчас об этом странно и думать) — может быть, наши отношения с ними завяжутся, хоть и немножко, от того, что мне объяснила девчонка — третьеклассница по прозвищу Батончик.

То, чему я их научила, возвращается ко мне, они помогают мне не только мытьем посуды, а поддерживают меня. Недавно я забыла дома кошелек, а в магазине хватилась — нет денег. И я решила, что потеряла всю зарплату. Мне стало дурно. Пришла домой с пустой сумкой, белая, села в пальто на стул, не могу слова сказать. Дети бросились ко мне: «Что с тобой?» Говорю — деньги потеряла. А они: «Да вот кошелек!» А старший сын принес воды и говорит осуждающе: «Ну разве можно так волноваться из-за денег?» Это я так учила, нет денег — экая беда, выкрутимся. Он бы так же сказал, если б я и вправду все потеряла. Вот он и опора мне, мой мальчик.

Что бы я изменила? Себя вряд ли удастся, а дети не дают мне зазнаться. Мы летом ездили все вместе на юг. А потом сын и говорит мне: «Мама, тебе за наш отдых надо поставить памятник!» Я и расцвела, уши развесила. А он продолжает: «С рулоном туалетной бумаги в руках и надписью на пьедестале: „Дети, кто хочет в туалет?“» Точно, моя коронная фраза, чаще всего звучавшая над берегами Кавказа.

Может быть, неприлично в этом признаваться, но мне мои дети очень нравятся, я имею в виду — нравятся как люди. Они разные, но у них есть те качества, которые я в людях вообще очень уважаю. И я не могу представить, как это — они были бы другие? Вот Саня на днях прочитал «Фауста» и честно признался: «Было тяжело». Вдруг бы у Сани не хватило самолюбия дочитать, раз взялся? Или вдруг бы он покривил душой: «Ах, „Фауст“!» Ну, это уже не Саня был бы, кто-то другой.

Бывают ли уцененные собаки?

Мне нравится говорить о том, что мне нравится: какие разные мои дети, все пятеро, как мы с ними живем, работаем, ссоримся и миримся, о наших семейных и единоличных тайнах.

В послеотпускную трудную минуту жизни шарю в шкафу — не завалилась ли где мелочь. И вдруг нахожу в пустой сахарнице трешку с копейками: «Чье?» И хоровой ответ: «Это Настя на собаку копит. Она хочет водолаза». — «Ну, Настюш, я их пока экспроприрую, а потом добавлю, ладно?» И дочка соглашается: «Давай я молока и муки куплю и сделаю блины».

Девятиклассник Саня получил письмо из МФТИ с приглашением заниматься на вечерних либо заочных курсах. Комментирует: «Ну, вечерние — 60 рублей в год — это не для нас, а на заочные обязательно запишусь».

Мне кажется, что человек имеет право на тот образ жизни, который считает хорошим, если, конечно, это не воровство, не пьянство и т. д. Никому не навязываю наш — без цветного телевизора и ковров, с мечтой о водолазе, а не об импортных «Made in Malachovka» штанах. Милосердие и благотворительность — хорошая вещь, если человек их дарит кому-то. Но вот какво быть, так сказать, потребителями этих благ и милостей? И поэтому я терпеть не могу говорить о льготах для многодетных семей, а о них обязательно рано или поздно заходит речь почти в любой беседе. Попробую все же суммировать все льготы, положенные моей семье, состоящей из меня и моих пятерых детей от 6 до 14 лет, «проживающих совместно со мной», как пишут в соответствующих справках. Во-первых, я плачу квартплату на рубль меньше, чем мне положено (квартплату, а не свет, газ — это как у всех). Во-вторых, подоходный налог с меня берут не полностью, а 70 %. Эти льготы я получаю, так сказать, автоматически, без усилий с моей стороны, без справок и хождения по инстанциям. Впрочем, вру, насчет подоходного налога я ежегодно представляю справку из ДЭЗа, что никто из нас не умер, не переведен на полное государственное обеспечение и т. д.

В-третьих, у меня есть удостоверение, дающее мне право внеочередного обслуживания в службе быта, а также спецобслуживания в продовольственном и промтоварном магазинах.

Со стыдом сознаюсь, что я широко пользуюсь этими льготами, потому что не имею возможности стоять в очередях в парикмахерской и химчистке, за сливой и школьной формой, за мылом и сахаром, и зубной пастой, и стиральным порошком, и еще за чем-то, за чем стоят в очередях. Самые страшные, неподвижные, самые постыдные очереди — очереди за так называемыми праздничными заказами, где мы, многодетные, стоим вместе с ВОВ и ИОВ — такие вот аббревиатуры украшают нашу жизнь в условиях демократии и гласности. Если мне еще позволяют совесть и здоровье (прихожу из магазина и, как правило, пью валокордин и валерьянку) проситься без очереди и выслушивать «народное мнение» о многодетных вообще и обо мне в частности, то здесь я стою за безногим инвалидом и перед старухой на костылях и молча слушаю, как продавщица кричит в ухо глуховатому мужчине: «Тушенку берете? Сгущенку берете?», а он, неловко улыбаясь, трясет головой: «Да, да, да». А вот другой идет, глядя прямо перед собой выцветшими, слезящимися глазами, прижимая к груди, к праздничному черному костюму, к орденам эти самые банки, эту полукопченую колбасу, и его толкают те, кто тоже плохо видит, кому тоже трудно обойти, кто тоже хочет полукопченной колбасы. Господи, сколько раз я зарекалась не ходить за этими заказами, тем более что мне-то эти пресловутые заказы не подходят: одна банка сгущенки — мне мало, а две не дают. Даже если человеку впереди меня сгущенка не нужна, эту банку отложат, а мне не впишут — не по-ло-же-но. Хорошо, что стоять долго: пока стоишь, со всеми познакомишься, поговоришь и договоришься, чем с кем меняешься, кто кому что берет. Так что вот такая у меня льгота: четыре раза в год, стыдясь себя за радость и все-таки радуясь, волочу домой сумку с положенным, а также неположенным по статусу «мнд».

Хорошо и то, что эта льгота не требует справок, разве что ежегодно ездить в исполком и там ставить штамп в своем удостоверении.

Есть и еще льгота, недавняя, которую я смогла в прошлом году получить, только обратиться непосредственно в ВЦСПС: бесплатная школьная, спортивная и пионерская форма. Ходишь и собираешь чеки, складываешь их аккуратно, пишешь заявление на имя директора школы, а если он ничего об этой льготе не слышал, то идешь в РУНО, а там говорят: «В первый раз слышим про такую благотворительность». Тогда идешь выше и через каких-нибудь полгода получаешь за форму, которая куплена в июле, а тут кончается зима, и можно уже думать о следующем учебном годе с новыми формами и старыми проблемами. Согласно тому же постановлению Совета Министров СССР и ВЦСПС «О дополнительных мерах помощи малообеспеченным семьям, имеющим трех и более детей, воспитываемых одним родителем», мне положена и бесплатная путевка в санатории и семейные дома отдыха. Говорю об этом в горкоме профсоюза — нет, вам положен только бесплатный пионерский лагерь. Так и не договорились в этом году ни до чего: отдыхали мы, конечно, всей семьей и за свой счет. Приехали загорелые, довольные и без копейки денег. Кого-то это злит. «Она еще улыбается!» — сказала мне как-то строгая дама, выдавая очередную справку. Кто-то удивляется: «Как это ты не боишься с ними ездить?» Нет, не боюсь. Я боюсь, что разговор о многодетных семьях сведется к ярмаркам подержанных вещей и благотворительным концертам, как будто это изменит существо дела. Я вот приготовила детские платица, хочу послать знакомой для ее дочки, а соседка принесла мне кофточку, из которой выросла ее дочь. Сейчас я не плачу и мне не платят, а на ярмарке я продам, но и покупать придется — так где же выгода? А о благотворительных мероприятиях, где билет стоит 10 рублей, я читала о них у Чехова, например, ну хоть «Анна на шее» — перечитайте, кто не помнит.

Что мне удивительно — люди, которые должны по долгу службы знать все о льготах для нас, не знают ничего. Хожу с газетой, даю ее читать — читают, пожимают плечами. И еще мне удивительно, что льготы эти как-то лишены здравого смысла. Ну вот хоть единовременные пособия по случаю рождения ребенка. На первого — 50 рублей, на второго и третьего — по 100 рублей, зато на четвертого — 65 рублей, а на пятого — 85. Или материальная помощь из фонда Всеобуча — только на покупку одежды, ни в коем случае не еды, не письменного стола, не кровати. Или, например, бесплатное питание детям в школе — обязательно завтрак и обед. А мне обед не нужен, мне нужны только бесплатные завтраки. Ну, если учительница хорошо ко мне относится и опытная, она выкрутится, поделит: одно моему ребенку, другое — другому, а нет — ну, как говорится, на нет и суда нет. Если мне не нужна одна из положенных мне школьных форм, то я должна добыть чек, а просто так деньги мне не положены. Как будто все мы вместе играем в какую-то странную игру, салочки, что ли: то я убегаю, а меня догоняют, то наоборот. И все это вокруг материальных проблем, как будто духовных запросов в многодетных семьях и нет, они, так сказать, нам «не положены». А мы хотим в театр! В Большой. На «Щелкунчика» — у меня трое детей в музыкальной школе учатся, да и вообще дети музыку любят, и классику, и современную. Нет, шесть билетов в Большой театр — это невозможно. Мы хотим на выставки. Мы хотим... на Ключевского мы подписаться хотим. Я читала, что подписчики недовольны — тома разного оттенка, так мы согласны на разные оттенки, потому что мы это будем читать. Я один раз написала личное письмо С. А. Образцову, так что мы один раз были в Театре кукол, а второй раз мне неловко писать, так мы и не были там больше ни разу. Вот подумываю, не написать ли Наталии Сац, но ведь это не метод.

Детский музыкальный театр совсем рядом с нами, и наверняка среди его работников много комсомольцев, так, может быть, им стоит взять шефство над многодетными семьями, приглашать нас время от времени к себе? Если так трудно попасть в театр нашей семье, то как же быть тем, кто живет далеко от культурных центров? И с одним-то ребенком ехать сложно, а с тремя, с пятью? И все-таки мне кажется, что если подумать, то придумать можно.

Человек будущего — не просто сытый и одетый, а прежде всего человек думающий, читающий, знающий. Всегда и у всех народов мать с ребенком на руках вызывала чувство восхищения, так тем более должен быть высок престиж матери, вырастившей много детей. Пора уже избавляться от взгляда на многодетную мать как на женщину, утонувшую в

бытовых хлопотах, невытую и нечесанную, озабоченную тем, где бы перехватить рубль до полочки.

Мы тоже хотим ходить в кино и в театр и даже на выставки вместе с детьми, а может быть, и для себя, — что в этом странного?

Уже рождение первого ребенка надолго, на несколько лет, отрывает его мать от всего, что входит в понятие «культура». Моя знакомая из Липецка, у которой двое, ничего за последние три года о походе хотя бы в кино не писала. Вчера письмо пришло из Гомеля, там у моей подруги четверо, но среди кучи семейных новостей ни слова о посещении театра — как и год, и два назад. Моя соседка, мама пятерых дошколят, в кино была в прошлом году, когда я забрала всю компанию к себе на два часа.

Не только и не столько материально трудно с ребенком: как воздуха не хватает того, что поднимает человека над бытом, — искусства во всех его видах. Не потому ли и не хотят рожать второго молоденькие мамы, что видят они только ежедневные авгиевы конюшни материнства, а его света, его крыльев, полета не замечают, не умеют замечать? То, что есть в «Мадонне» Рафаэля, может объяснить маме только она и только при личном свидании. Час, потраченный матерью «на себя», сторицей вернется детям, а значит, завтрашнему обществу. До сих пор вспоминаю, как первый и последний раз за 14 лет своего материнства попыталась пройти в «Изобразилку» на выставку. Хвост очереди терялся в утреннем тумане, и было ясно, что двух часов, на которые меня отпустила подруга, согласившаяся посидеть с детьми, не хватит даже на то, чтоб подойти к двери. Так было жалко несостоявшегося праздника, что я решилась попросить пропустить меня, мол, у меня пятеро ребятишек, вот и удостоверение. «А у меня две собачки, они тоже требуют заботы, и к тому же я член Союза художников», — отрезала молодая женщина, а мужчины вокруг согласно закивали головами. Честное слово, в очереди за бычьими хвостами, где стоят «девочки тридцатых годов», как назвала их одна читательница, в платках и с сумками, такой ответ был бы невозможен. «Бери, дочка, бери, — говорят они, — ох, хороши хвосты, наваришь своим супа, ох, и суп будет!»

Мне иногда кажется, что мы все стоим в длинной-длинной очереди за счастьем, которое, может быть, вовсе и не того цвета и размера, какой мне нужен. Стоим так долго, что уйти вроде и жалко: столько стояли. Конечно, впереди еще много народу, но и сзади порядочно, кто-то мне определенно завидует, что я уже скоро получу это самое, чего мне не нужно.

Можно экономить на тряпках и колбасе — нельзя экономить на книгах. Ребенок должен расти с ощущением доступности «всех тех богатств, которые выработало человечество», и, честное слово, это не тушенка по госцене. В моей семье детей много — это наша общая гордость и общая радость, это не увечье, вызывающее жалость и вызывающее к чувству милосердия общества.

Я рашу детей, чтоб было кому обеспечить пенсией ту даму с собачками. Многодетные семьи — не нахлебники у государства, которое обеспечивает их различными льготами за счет кого-то. На единственного ребенка в семье одна книжка, один велосипед, один телевизор, но и на пятерых этого всего по одному. Потребительство в принципе невозможно в большой семье, даже очень обеспеченный и неумный человек не купит каждому из своих пяти детей по магнитофону, а значит, вещь остается всего-навсего вещью, да притом и коллективного пользования. Большая семья — коммуна по своему духу и, следовательно, зернышко будущего в нашем обществе. Так и надо на нее смотреть — с уважением и обязательно с улыбкой, без раздражения. Не надо думать, что, как мне одна женщина сказала, «эти дети выдышали весь наш воздух». Это вчерашний, даже позавчерашний взгляд — все мое: воздух и вода, заграничные джинсы и русское сало. Не может государство помочь нам материально — ну что ж, проживем, не требую же я финансовой помощи от своей матери-пенсионерки. Но уж если идет разговор, и притом публичный, о льготах и привилегиях, может, есть смысл спросить самих многодетных, что им нужно — не всем скопом, а индивидуально — кому садовый участок, а кому билет в театр, и помочь тоже индивидуально: выделить этот участок тем, кто хочет (я вот не хочу), дать ссуду тем, кто

просит (я не прошу — мне нечем ее отдавать), позволить подписаться на еженедельник «Семья» — кому же и подписываться на него, как не мне? Пока же мы мыслим по привычке массово: всем все одинаково, вот и получается, что общегосударственные выплаты большие, а помощь конкретной семье мизерная. И еще одна просьба: помогать так, чтобы можно было принять эту помощь. «Бедненьких сироток» у нас нет — мы богаче тех, у кого в трехкомнатной квартире четыре хрустальные люстры и два югославских унитаза, а что касается денег, так моя Настя говорит: «Я буду хорошо работать, я буду стараться». И Ваня, Маня и Ася в один голос продолжают ее невысказанную мысль: «И мы купим водолаза». А разумный Саня спускает эту небесную мечту на грешную землю: «Бывают же какие-нибудь уцененные собаки».

Мы не ходим в детский сад

Я уже говорила о наших семейных принципах и о том, что первый из них — равенство. Детей в семье много, значит, вопрос о воспитании коллективизма, о том, как все разделить на всех, решается ежедневно в рабочем порядке, без помощи яслей и детского сада. И вот почему. Хорошо, что нам не дано слышать того, что происходит за соседней дверью, а тем более в соседнем подъезде, а то утро мы все проводили бы под оглушающий рев, под тихий скулеж, под горькое рыдание, под выматывающий душу плач детей, собираемых в их сад. Да, кому-то повезло больше — и садик ничего, и воспитательница неплохая, так что иногда начинает казаться, что в целом-то все поправимо: вот наступит светлое завтра, воспитателям прибавят двадцатку, все обрадуются и повеселеют — и в садике будут цвести цветочки.

Можно еще хозрасчет ввести, можно сделать все детсады ведомственными или, наоборот, заменить все ведомственные на кооперативные, можно разрешить родителям и детям выбирать воспитателя, все это, конечно, хорошие вещи, хотя боюсь, что придется нам тогда не только воспитателя выбирать, но и заведующую садом, а также РУНО, ГУНО и т. д.

Но может быть, есть смысл посмотреть на детский сад как на явление, не зависящее от хорошей Марьи Петровны или обыкновенной Татьяны Павловны. Давайте посмотрим на детский сад с точки зрения ребенка. Что это такое для нашего сына или дочери? Работа? Но в нашей стране 8-часовой рабочий день, а не с семи утра до семи вечера. Отдых? Пробовали ли уважаемые родители отдыхать хотя бы месяц в одной комнате с тридцатью соседями? А не хотите попробовать? Так весело, интересно, и с вами будет массовик-затейник, он научит вас плести макраме, вязать, ходить парами на прогулке, петь, танцевать, любить животных. А дети — и год, и два, и три, да еще и без отпуска, потому что летом они едут с детским садом на дачу, где отдыхают и вовсе круглосуточно. Человек — животное общественное, но не стадное, нельзя ему все время быть на людях, он должен быть и один. Сейчас наконец-то заговорили о том, что воспитанники детских домов отстают в развитии, в частности, потому, что не имеют возможности для уединенной душевной работы. Но чем так уж принципиально отличается жизнь родительского ребенка, живущего по маршруту ясли — сад — продленка, от сиротской? И стоит ли удивляться родителям шестнадцатилетнего подростка, что они не понимают друг друга, он какой-то чужой? Весной — зимой — осенью он воспитывался общественно, а летом давал маме-папе отдыхать — ездил в лагерь, так они и в самом деле слабо знакомы — родители и их акселератное дитя: ни старшие не умеют поговорить с ребенком (не научились за 16 прожитых врозь лет), ни он не умеет общаться со взрослыми — воспитатель, если очень постарается, успеет вытереть нос, но не поговорить «по душам» с четырехлетней — да и какая там у него душа, есть ли она?

Итак, первое — совместное постоянное проживание 30 с лишним детей — тяжелая психологическая нагрузка на ребенка, и никакой воспитатель, хоть бы и гениальный, тут не спасет.

Второе — раздельное постоянное проживание ребенка и родителей создает серьезные трудности для их взаимопонимания, для возникновения душевной близости. «Облегчая» жизнь семьи сейчас, «отдельность» отзовется новыми острыми проблемами в будущем,

которое обещало быть счастливым: «вот вырастет...»

Сейчас много говорится и пишется о милосердии, вернее, о его отсутствии в отношении к старикам. И мне всегда хочется спросить: не ходила ли та бывшая девочка, которая сейчас отправляет свою маму в Дом престарелых, в детский сад? А если ходила, то какой с нее спрос? Тогда у мамы было много важных дел, ребенок ей мешал, а нынче у дочки работа, то да се, а тут еще старуха под ногами путается. Да разве плохо в Деддоме? Там уход, там ее ровесники, а мы будем навещать. Причины и следствия не обязательно стоят рядом, бывает, они разделены долгими годами, но ведь дети действительно наше будущее, это не простая фраза.

Мне рассказала одна женщина, как утром пятилетний малыш плакал: «Мама, побей меня, чтоб я захотел идти в садик». И ведь она его все равно туда отвела, не разорвалось сердце. Он привыкнет — но хорошо ли, что привыкнет осуществлять задуманное невзирая на слезы близкого человека?

Третье — постоянно общаясь только со сверстниками, ребенок испытывает трудности при разновозрастном общении. Он может обидеть младшего (второго ребенка в семье), так как не понимает, что в нем хорошего — такой глупый, ничего не умеет, а лезет! — его не научили. При этом сам легко поддается влиянию старшего — он привык, что им командовали: «Иванов, не отставай!» Уверены ли вы, что диктат старших будет всегда со знаком плюс?

Четвертое — садовский ребенок выключен из семейной жизни, он не знает ее радостей и забот, он привык, что его обслуживают — кто-то купил еду, кто-то приготовил, кто-то убрал — ребенка это не касается. В семье, особенно в большой семье, проблема трудового воспитания решается принципиально по-другому. Мои дети знают: колбаса растет не в холодильнике, и у батонов нет ножек, они сами домой не приходят. Не успели купить хлеба, стало быть, будем есть без него. Я ушла на работу — они и сготовят, и посуду помоют, и малыша переоденут. Не знаю, считать ли это производительным трудом или общественно полезным, но убеждена, что и мальчикам и девочкам пригодится в жизни умение сварить кашу и испечь пирог, выстирать детские штанишки и сменить кошке песок. Любовь к животным, как и любовь к людям, включает в себя не только поэтическое сюсюканье, но и вполне прозаическую «грязную» работу. Шестилетняя Маня прибегает с улицы: «Мама, у нас есть деньги? Там вишню дают, я очередь заняла». Она уже мне подспорье: и инициативу и предусмотрительность проявила — очередь заняла, и о деньгах подумала, и о том, что вишни — это общее удовольствие, и меня от стояния в очереди освободила.

Четырнадцатилетний сын всерьез увлекается техникой и с удовольствием взбивает миксером яйца для торта, который тринадцатилетняя Настя печет по книжке. Ничего необыкновенного — мы так живем всегда, заботы общие, я даже не делюсь этими заботами с ребятами, а мы делаем одно дело, вот и все.

О пятом — болезнях — я говорить не буду, так как об этом говорится в 90 % писем и статей. Когда-то я сделала едва не ставшую трагической попытку отдать годовалого сына в ясли, он проходил два полдня, а ночью вызвали «скорую». Тогда я и решила: «Лучше я буду сидеть со здоровым, чем с больным». Все мамы сидят время от времени с больным малышом, и все знают, что с ним труднее: и жалко его, и капризничает-то он, и плачет, и не ест, и не спит — намучаешься. И у меня дети, конечно, болеют, но все же не так часто, хотя есть и свои трудности — болеют оптом.

Что касается «полноценного» воспитания в детских садах, даваемого профессиональными воспитателями, то сводится оно к рисованию картинок, заучиванию жутких по художественным достоинствам стишков и абсолютному отсутствию реакции на слова взрослого человека. Последнее естественно: если ребенок и может сохранить душевное здоровье в той жизни, которой он живет до школы, то только постоянным сопротивлением среде. Когда старший сын пошел в школу, он был поражен: «Мама, учительница сказала, что надо после звонка встать возле своей парты, почему же они все бегают и кричат?» А потому, что, с одной стороны, ребенок привык пропускать слова

взрослого мимо ушей, а с другой стороны, привык слушаться окрика.

Может быть, давайте теперь признаемся себе — детский сад плохо в принципе, и никакие повышения зарплат проблему целиком не решат. Так что ж, не отдавать туда своих детей? Да, не отдавать, если есть хоть малейшая возможность оставить ребенка дома, в семье. Надо, мне кажется, создавать такое общественное мнение: детский сад — крайний случай. Крайний! А сейчас бытует совершенно другой взгляд: детский сад — норма, притом обязательная, там ребенку хорошо. Меня, бывает, спрашивают, не отстают ли мои дети в развитии, ведь они не посещают сад. Этот взгляд — мол, рожать в роддоме, а воспитывать в саду — отражен даже в розово-голубом фильме «Однажды 20 лет спустя». Уж там и мать — идеал, и дети в сад ходят, значит, так и должно быть. Но ведь она **не работает!** Почему же тогда отдавать куда-то малышом?! Зачем?! А ни за чем — все отдают.

Обычная ситуация: в семье второй ребенок, мать полтора года дома, а старший — в саду. «Но мне будет трудно с двумя!» У меня — пятеро, из которых никто и никогда не ходил в детсад, причем ни бабушек, ни тем более нянь у нас сроду не было, так что я, мне кажется, имею право сказать: не очень трудно, гораздо легче, чем с одним, а если и чуть труднее, то не человечнее ли взять эту трудность на себя, а не спихнуть ее на старшего ребенка — но ведь маленького же! Напротив меня, через площадку, живет тоже семья, где пятеро малышей, и тоже никто в сад не ходит, а оба родителя работают, и бабушек нет, они выкручиваются по-другому — работают в разные смены, зато помощников у них, как и у меня, — пятеро.

В группе 30 человек — по крайней мере 10 из них могли бы не ходить в сад. Так оставшимся было бы легче, и воспитателю было бы легче, пусть проблема и не решилась бы полностью, но все же хоть остроту потеряла, к тому же без дополнительных затрат. Женщина меняет профессию и идет воспитателем в сад, чтоб туда взяли ее ребенка, — какой-то странный, фантастически нелепый выход из положения. Все равно меняет профессию, так не лучше ли сменить ее на такую, чтоб быть самой весь день со своим личным ребенком, а работать, например, вечером, когда муж приходит с работы? Или утром, как моя соседка, пока муж еще не ушел? Или надомно, или по договору, или еще как-то. Мне постоянно твердят: «Как вам трудно!», так у меня всего-то пятеро и своих, а у воспитателя 30 и чужих! Хоть тысячу рублей в месяц заплати — материнского тепла дети недополучат. Да еще если свой среди этих 30 — это вообще безнравственно: приласкать его чуть больше на глазах у неласканных — плохо, а не приласкать, отпихнуть, как чужого, — за что?

И первое, и второе, и пятое — это все минусы, а плюс у детского сада один — мама спокойно работает, пока дитя то ли работает, то ли отдыхает, то ли воспитывается, то ли наблюдается, в общем, живет-поживает.

Но так ли уж спокойно работают все мамы, «сдавшие детей», по какой графе подсчитаем их раздражение, срываемое на коллегах по КБ и клиентах прачечных, пассажирах автобусов и соратниках-соседах по стоянию в очередях?

Альтернатива, которую я вижу нынешнему детскому саду, — семья: мама, папа, братья и сестры, занимающиеся общим делом — воспитанием друг друга, связанные крепче крепкого общей жизнью, общей работой, общей любовью.

Бесхозный ребенок

Двое моих старших были совсем маленькими, а Ванюшка еще и не родился, когда течением жизни впервые прибило к нашей семье бесхозного ребенка. Это Ваня. Теперь так называют таких детей — бесхозный мальчик или девочка. Сейчас в нашем обществе много говорится о сиротах, о детских домах, все хотят хоть как-то помочь: кто перевести деньги на счет 707, кто послать книги или вещи, а кто и пишет письма самому А. Католикову с просьбой помочь усыновить ребенка. Так ясно и понятно — малыш ждет близкого человека, надо помочь, надо спешить на край света — хоть в Сыктывкар — приласкать его, обогреть, одеть, накормить. Бесхозные — одетые и накормленные, хоть один родитель, а есть, а бывает

и комплект родителей, и сверхкомплект: и мама, и папа, и отчим, и мачеха — все несут вещи и вещички, да и бабушка трешки сует. И не надо никуда ехать — они под боком, на соседней парте сидят рядом с вашим ребенком. И в героической самоотдаче нашей «всю жизнь — чужому сиротке», в общем-то, не нуждаются.

Так вот первым таким ребенком была девочка Света. Она приходила сразу после школы и уходила как можно позже. Было ей 9, а моим — 4 и 2, так что их отношения дружбой назвать можно было с большой натяжкой. Честно говоря, я тогда не очень-то понимала, почему она приходит. Жила она за стенкой, в соседней квартире, и меня удивляло, что она уроки делает не там, где тихо, а у нас, где вовсе громко. Не понимала, пока не упала антресоль со шкафа. Слышу как-то: Света пришла домой, и вроде с подружкой, что-то говорят, смеются — и вдруг грохот обвала и мертвая тишина. Я особенно тишины-то этой испугалась, бросилась в соседнюю квартиру, кричу, стучу: «Света, Света!» Наконец дверь открыла она — лицо мертвое, нет лица. Я ей: «Света, Светочка, ты жива?» Трогаю — вроде все цело, подружка тоже, стоит рядом, успокоилась я, а Светка как каменная: глаза пустые, руки висят, молчит. Отодвинула ее, пошла посмотреть, что упало. Оказывается, антресоль со шкафа, три дня назад купили новую стенку, еще не успели положить вещи, а антресоль эта проклятая так была спроектирована, что если не загрузить ее, то, как откроешь дверцы, она начинает падать, если не поддержать. Халтурщик какой-то сделал. И вот Светка похвалиться вздумала перед подружкой, залезла на стул и открыла дверцы, и этот здоровый ящик на нее свалился, к счастью, не убил, не искалечил. И к несчастью, разлетелся в мелкие щепки — по всей комнате полированные обломки. Я Свету привела к себе, успокаиваю, но она не успокаивается, а еще хуже ей, трясет ее от страха. Теперь-то я знаю: первый признак бесхозного ребенка — страх, ужас даже, живущий в нем всегда. Это очень покладистые дети: к тому тяжкому камню, который они постоянно носят на сердце, достаточно добавить песчинку недовольного взгляда — и ребенок пойдет, куда вы его послали, и принесет, что вы ему велели. И молча при этом. Молчаливые они. И если плачут, то тихо, скулят, а не плачут, чтобы не услышал никто.

Вечером в соседней квартире было тихо-тихо, только телевизор работал, ни крика, ни плача, — музыка играет, и Светка дня два к нам не ходила, а потом все стало, как раньше, пока мы не переехали. И тогда появился Юра. Даже если мы на неделю куда-нибудь едем, то и за эту неделю кого-нибудь привлечет огонек семьи, кто-нибудь пристроится мне помогать. Бесхозные — гордые дети, они знают, что едят чужой хлеб и не хотят его есть задаром, они его отрабатывают: и просить не надо — сами предложат и в магазин сбегать, и с малышом посидеть, и пол подметут. Так прибилась к нам девочка Эмма, когда мы отдыхали в Грузии. Они с мамой доживали последнюю неделю отпуска, когда мы только приехали. Маме не нравилось ни море — грязное, ни солнце — жаркое, ни песок — липкий, ни еда — острая, ни персонал — грубый. Она сидела в платье и в чулках в тени и страдала, а рядом с ней, тоже в платье, сидела на пляже Эмма и смотрела на такое недалекое море, куда ей было нельзя. Не помню, с чего началось, кажется, к ней подкатился наш мячик, а может, и еще что-то. Через день, наверное, а может, и через полдня она уже пасла Аську и собирала по всему пляжу наши разбросанные игрушки. Мама обратила внимание на то, что девочка исчезла, наверное, дня через 4 — через 5, когда Эмма уже всю купалась и даже успела немножко обгореть. Она подошла ко мне пожаловаться на еду, пейзаж, Эмму, дороговизну, транспорт, отсутствие подходящего общества и сообщила, что они уезжают сегодня, сию минуту, на три дня раньше срока. Мы с ней вежливо попрощались, и она пошла, а Эмма все стояла и смотрела на нас. Молча смотрела — она не умела говорить по-русски. «Ну, а тебе понравилось?» — спросила я, потому что молчание затянулось, и я чувствовала, что сейчас кто-нибудь из моих заплачет или сделает что-то ненужное, крикнет Эминой маме вслед что-нибудь. Девочка воровато оглянулась и, увидев, что мать далеко, изо всех сил затрясла своими черными кудрями: «Да, да, да!» Повернулась и пошла, но тут ее позвали «Эмма!», и тогда она остановилась и еще раз закивала головой: «Да, да, да, да!», махнула рукой и побежала, не оглядываясь, навстречу яростному воспитательному крику: «Эмма!»

Так вот, Юра не мог видеть открыто лежащего лакомства, все совал в карман: конфету, мандарин, бутерброд, пирожное — про запас. «Юра, — зову, — иди-ка сюда. Ну, давай клади на блюдо, что взял». Молча и беспрекословно вытаскивает помятый бутерброд с колбасой, кладет. «Юра, теперь скажи: „Тетя Ира, можно я возьму бутерброд?“» Послушно и монотонно повторяет. «Можно, Юрочка, — говорю я, — а сколько у нас ребят?» Напряженно подсчитывает, отвечает. «Вот пойди и всем дай, понял? Один себе, а остальные раздай. И что нужно сказать?»

Юра приносил в нашу семью вшей и матерщину, и моя приятельница удивлялась: «Ты с ума сошла! Да я бы и секунды не раздумывала — выгнала бы и всё. Речь идет о моем ребенке — при чем тут какой-то Юра?»

Каюсь, я один раз выгнала. Пришла с работы — дома конь не валялся, не знаю, за что хвататься: стирка, готовка, уроки, а тут еще Юра с Саней что-то поспорили, чуть не драка, я и скажи: «Иди-ка ты, Юра, домой, уже шесть, мама ведь пришла с работы, иди!» Молча пошел, а я занялась хозяйством и забыла про него, часа через два хватилась, что сахар кончился, и полетела в магазин, уж темно стало. Смотрю — сидит кто-то на скамейке. Батюшки — Юра! «Мама мне не велела раньше десяти приходить». Про стыд говорят — жгучий. Я бы сказала — ледяной. Дорого бы я отдала, чтобы закричать, как героиня одной из пьес Светлова: «Сделай так, чтоб в эту минуту закрылся занавес!»

И вдруг Юра заговорил о дне рождения. «Вот когда у меня будет день рождения... Вот вы приходите. Мама обещала. Мама такая красивая...» Хоть раз в день, а всплывет этот грядущий день рождения. Это ожидание вообще-то заразная штука, уже и мои стали повторять: «Вот на Юрин день рождения...» Нет, я не верила, но все же надеялась, и было мне грустно и любопытно: ну как же она вывернется из этого дня рождения, Юрина красивая мама. И тяжело, и тоскливо — мне-то не вывернуться, не уйти от вопросов моих детей — почему у нас так, а у Юры — вот этак.

Не знаю, как кто, а я, мне кажется, всю бы землю соломкой устелила — чтоб моим не больно падать было, цветочки бы насадила и дорожки песком посыпала — для красоты. Как у Некрасова:

Нет мест таких — без податей
И без рекругчины, нет, дети.

А если б были для людей
Такие рощи и полянки,
Все на руках своих детей
Туда бы отнесли крестьянки.

Что из того, что сейчас ни податей, ни рекругчины — от своего и чужого горя не укроешь, и честно говоря, чужое горе страшнее бьет, потому что ему не можешь, бессильны мы перед ним. Ну в самом деле, что сделать? Лишать Юрину маму родительских прав абсолютно не за что: парнишка одет, вот и часы электронные дедушка подарил, да и мальчик ее любит, он не предаст ее, не бросит., все твердит: «мама красивая». Заставить ее любить сына? Может, кто и умеет, а я нет, мне проще голову ему вымыть да вшей выбрать, но ведь это не отменяет наличия бесхозности как явления. Я как-то студентку одну спросила, кто ее любимый писатель. «Достоевский», — отвечает. «Почему?» — «А мне это очень близко.» Понимаете ли вы, понимаете, когда человеку некуда идти? Товарищи, девчонке в 17 лет это не должно быть близко, это должно быть непонятно — как это некуда? А мама? А подруга? А Он?

Самый главный признак бесхозного ребенка — он никогда не спешит, потому что ему некуда идти, зато сиди на лавочке сколько хочешь, смотри, как цифры прыгают на электронных дареных часах и помалкивай.

Юра забежал еще перед школой: «Сегодня!», а после школы уж и вовсе прибежал

сияющий: «Кладите портфели и сейчас же идем!» Я не могла ему сказать сразу, что мама уже звонила: «У соседней скарлатина, к нам нельзя». Пожалела я ее и себя, не сказала, что дети скарлатиной болели, а то бы ей пришлось на ходу перестраиваться, выдумывать ветрянку или черную оспу.

Посадила всех обедать — Юра чуть не на стенку лезет, первый раз слышала, как он не соглашается: «Зачем есть, мама торт обещала купить, идемте скорее!» — «Юрочка, — говорю, — позвони маме, кто-то заболел». И тогда он не понял, пошел звонить спокойно: «Мама». И опять «Мама, мамочка!» И снова: «Мама!» — так и поговорили. Долгая пауза, потом: «Мама!», — и опять молчание, и опять в тишине этот тоскливый зов. Подарили мы Юре подарки, достали из холодильника и съели свежайший торт — ничего этого ему не было нужно. Он, собственно говоря, привык, что идти некуда, но не смог привыкнуть не стыдиться этого, ему хотелось быть равным среди равных, не только получать, но и дарить.

Подруга мне с возмущением рассказывала, как ее шестилетняя дочка привела домой целую компанию 8-9-летних незнакомых мальчишек и стала раздаривать им свои игрушки: «Мне не нужно». Концентрация одиночества стала непереносимой: если бы был такой счетчик, чтоб его подсчитать, то сейчас бы его зашкалило, он бы пищал изо всех сил, и, может быть, мама бы услышала.

От неохваченных статистикой неблагополучного детства, тихих, послушных Маши и Наташи, Юры и Алешки не откупиться пятеркой из зарплаты и концертом мастеров искусств.

Две мамы, держа за руку десятилетних сыновей, разговаривают на улице. Одна другой: «Тебе хорошо, у тебя вон какой сын, и учится нормально, и спортом занимается, а у меня — ужас, а не ребенок, — и чуть покосилась в сторону мальчика. — Видишь, как смотрит? У-у, гадина!» Все-таки я успела перехватить мгновенный затравленный взгляд перед тем, как беспомощная «гадина» устала в землю окончательно. Сколько раз я слышала такие сетования: «У людей дети как дети, а этот!» Дети так не говорят, а могли бы: «У людей мамы как мамы, а тут!» Они каким-то непостижимым для меня образом умудряются переварить эту бесхозность и не отравиться ею, хотя, может быть, все эти заклепки и металлы подросткового возраста, весь этот грохот — только лекарство от голода. А мы тут и начинаем помогать: не хочешь ли того, деточка, а может, вот этого? Ничего он не хочет, и как говорится, «ах, медлительные люди, вы немножко опоздали». И обратите внимание, ведь и маме несладко, она же говорит подруге: «Тебе хорошо!», т. е. само собой разумеется, ей-то плохо. И это «плохо» с годами только усиливается. Сколько этих мам горько плачут в разных инстанциях: «Кормила, поила, а он!»

Такая вот арифметика: я ему батон за 13 копеек, а он мне любовь; я ему куртку за 250 рублей, а он мне опять любовь! Бедные мамы! Давайте еще один фонд организуем, фонд страдающей мамы, и будем выдавать бесплатно советы: «Поцелуйте сына, и он вас поцелует, помогите ему, и он вам поможет. Любовь будет только в ответ на любовь, а не за хлеб, масло, икру и тряпки». Хорошо, когда ваш чистенький ребенок дружит с таким же умытым соседским, но если всех чумазных и сопливых прогнать куда-нибудь подальше, чтоб не влияли плохо, не повлияет ли плохо на наших родных детей эта стерильность?

Мне рассказывала одна девочка про свой выпускной вечер. Ее мама — член родительского комитета — вся избегалась, готовя его, и утром перед выпускным балом вспомнила, что платье-то выпускное скроено, да не сшито. «Ты же видишь, мне некогда. Пойдешь в белом фартуке» — и мама убежала организовывать цветы и праздничный стол, а дочка осталась — плакать, разумеется. И тут зашла чужая мама — все по тому же делу: выпускной! И ведь вытрясла из девчонки подлинную причину слез — это тоже уметь надо. И села строчить — до вечера оставалось два часа. Взрослый человек, бывшая девочка сейчас смеется: «Рукава она вшить не успела, только приметала, так что я боялась пошевелиться, туфли жали — но я веселилась от души».

Я за Детский фонд и за шефство, за увлеченность работой просто и работой общественной, за благие дела и прочие прекрасные вещи. И я вношу предложение — не

организовать ли нам всесоюзный субботник под девизом: «Милосердие к своему ребенку». А потом — воскресник. Или еще лучше — месячник, а?

Домашняя школа

Наверное, я, как и все, сужу со своей колокольни, но и с нее кое-что видно. Не знаю, как ученые проводят педагогические эксперименты в своих экспериментальных классах, но у меня дома уже много лет — десять — идет свой маленький экспериментик, причем фактически сам по себе, без моего участия, я только слушаю и смотрю, вернее, подслушиваю и подсматриваю. Дело в том, что в последние десять лет игра в школу едва ли не основная среди игр, в которые играли и играют мои пятеро разновозрастных ребят. Бывает, увлечение проходит, потом опять возобновляется, иногда играют двое-трое, а бывает, что и семь-восемь «гостей» усаживаются за доморощенные парты. Считается, что дети в игре копируют взрослую жизнь. Мой многолетний наблюдательный опыт говорит о том, что это и так и не так. Дети создают свою школу, играя, а значит, без «палки», без принуждения, они играют, так сказать, в идеальную школу. И вот мне кажется, что мы в своих проектах очередной перестройки школы должны ориентироваться и на эту детскую идеальную школу тоже. Меня огорчает, что во всех наших взрослых и ученых проектах все вполне выполнимо хоть завтра, было бы желание. Подумать только, до чего мы дошли — чуть не в драку по вопросу о том, уважать ребенка или не надо, целовать его или «воспитывать», помогать ему или гнать взащей из школы?

Все ссылаются на авторитеты, сошлюсь и я на Пушкина, который писал своему лицейскому другу: «Многие считают, что воспитывает несчастье, но мы-то с тобой знаем, что это не так, что воспитывает счастье».

Так вот это самое счастье, мне кажется, можно с той или иной вероятностью успеха создать при двух условиях: во-первых, спросить у детей, как они его для себя понимают, а не только все вспоминать: а вот в наше время... а вот в те еще годы... А во-вторых, делать это счастье на вырост, потому что ни одна наука — а педагогика все же наука, хоть нам и не всегда верится в это, — не может развиваться без мечты, без «сумасшедших» идей, чье время еще не пришло да, может, и никогда не придет, может, они и отомрут через 20, 50, 100 лет, так и не воплотившись, но может быть, может быть, та самая школа будущего все-таки вырастет из какого-нибудь безумного зернышка сегодняшней мысли.

Так вот — моя домашняя школа. Я как-то пробовала хронометрировать, сколько времени дети занимаются. (Повторяю, я никогда и никак не поощряла игру, хотя, конечно, и не мешала, вообще старалась не заходить в комнату, где дети играют, а если заходила, старалась побыстрее уйти, никак не реагируя на происходящее, не глядя даже ни на кого.) Вполне обычные дети 4–5 лет, бывало, учились до 6 часов в день, конечно, не подряд, а с перерывами, и довольно большими. Так что не такие уж они ленивые, эти малыши, как нам иногда кажется. Уроки разные, не только счет и письмо, но и география, и история, и биология. Ну и длина уроков разная — и сорок минут, и пятнадцать, — как идет дело, что труднее, что легче.

Меня всегда удивляло, как точно чувствуют учителя усталость учеников. Может быть, за счет малой возрастной разницы: учителю 6–7, а ученику 4–5 — это ведь не то же самое, что учителю 30, а ребенку 7. Слышала я предложения снизить продолжительность урока в младших классах до 40–35 минут, и всегда мне это казалось немотивированным: почему такие круглые цифры, а, например, не 32 и не 29? Удобнее нам? Но ведь не в нас дело, мы, увы, уже выучились. Я преподаватель, и на своем опыте знаю, что иной раз урока «много», все уже обалдели, ничего не воспринимают. Умный учитель пошутит, посмеется, оторвет от урока «драгоценное время», а глупый будет бороться за дисциплину, наставит двоек и т. д. А бывает, что и «мало» урока — еще бы минут 10, и все бы поняли, у всех уложилось бы, а так до следующего раза забудется, начинай опять сначала, но ведь многие-то усвоили, им надо бы дальше двигаться, а они скучают на том же месте. Но гремит всеобщий звонок по ушам и

по нервам — как труба архангела, поднимающего мертвых из земли. Так будет всегда? Или когда-нибудь время урока будет регулироваться необходимостью — больше, меньше, в зависимости от предмета, от учителя, от темы, от погоды в конце концов — почему бы и нет?

Второй кит нашей школы — план, программа, но и его, естественно, нет в домашней детской школе, а значит, нет и погони за убегающим во всю прыть результатом. Цель детского урока — учить и учиться, как цель еды — есть, а не доесть во что бы то ни стало, хоть лопни, как цель жизни в конце концов — жить, а не дожить до смерти. Урок кончается с тем же результатом, что и в «настоящей» школе, т. е. кто-то запомнил, что дважды два четыре, а кто-то нет, кто-то понял, а кто-то просто зазубрил. Только это не вызывает раздражения у семилетнего учителя, потому что не было цели, которая не удалась, — подстричь всех под одну гребенку. Собственно говоря, почему нужно научиться писать и читать именно к 1 января? Помните, в старом фильме «Девять дней одного года» — «откроем новую частицу в четвертом квартале»? Так она против программы, говорит сейчас про меня некто в сером, она за анархию, она — страшно вымолвить!... Я за программу, но я против веры в то, что на сегодняшний день мы достигли сияющих вершин в нашей методике и педагогике и теперь уж нам так и сидеть на этой вершине до скончания веков.

Вот идет детский урок зоологии, и вдруг ученик говорит учителю: «Сейчас, погоди, я принесу книжку», бежит и несет из другой комнаты книжку с рассказами о кошке, например. Потолок не падает, учитель не орет: «Сядьте на место!», хотя все встают, чтоб увидеть, чтоб полистать и посмотреть. «Урок сорван» — по-школьному, урок продолжается — по-детски.

Мы говорим, как о несбыточной мечте, о том, что в классе будет 25–30 человек, но мне кажется, что 5–6 — в самый раз. «Это невозможно!» — да, знаю я, что невозможно сейчас, но неужто уж и мечтать нельзя. А главное — ведь есть же сельские школы, где наполняемость классов куда как меньше городской, так почему мы все время говорим о худшем уровне знаний в малокомплектной школе? Ведь он должен быть в сто раз лучше — подумайте, 10 человек в классе, а не 35! Не потому ли, что методы работы в маленьком классе должны быть другие, чем в большом, там все должно быть по-другому, а у нас-то все так же! И вот когда наступит светлое будущее и во всех классах будет по 10 человек, то выяснится, что мы опять не готовы к этому, как сейчас не готовы к компьютеризации, к политехнизации, к обучению шестилеток, потому что всегда живем сегодняшним днем и не умеем видеть в его разнообразии ростки завтрашнего, не умеем учиться у самих себя. Дети пока заметно лучше нас — они так хотят учиться и при этом такие терпеливые учителя. Они умеют хвалить, они не устают ставить пятерки, они не строят из себя «сильных мира сего», как это делаем мы. Детство неповторимо и, увы, невозвратно, но подлинная педагогическая мысль никогда не могла примириться с этим, и недаром Януш Корчак назвал свою книгу «Когда я снова стану маленьким». В каждом ребенке живет взрослый, хотя, наверное, не в каждом большом дяде или тете живет ребенок. И все-таки, обращаясь к лучшему в нас, повторим вслед за Корчаком: «Дети, дерзайте! Мечтайте о славных делах. Что-нибудь да случится».

Школьный дом

День рождения ребенка и день рождения школьника, т. е. 1-е в его и в родительской жизни первосентябрьское утро, определяют наши общие с ним жизни на долгие-долгие годы. С коляской и малышкой-дочкой мы провожали нашего старшего в школу, и я, в предвкушении торжественного момента праздничной линейки, все поправляла ему то ранец, то цветы, то воротничок рубашки. Но... у дверей школы был буквально людской водоворот, и кто-то вырвал его ручонку из моей, и моего сынишку куда-то унесло. Не успела я опомниться, как тяжелые школьные двери захлопнулись, и кто-то из-за них прокричал: «Полдвенадцатого!» — «А его оттуда выпустят?» — с ужасом спросила младшая сестренка. Так мы встретились со школой, так я, выражаясь фигурально, переступила ее порог. С тех

пор с небольшими вариациями эти встречи повторялись регулярно, я четырежды шла первый раз в первый класс и четырежды в третий класс, трижды в пятый, дважды в шестой и один раз в восьмой. И ни разу не было праздника, всегда толкотня, беспорядок, длинные нудные речи, фоном которых служили окрики: «Иванов, замолчи!», «Стой смирно, я кому сказала!»

Ну вот, скажет читатель, столько недостатков у нашей школы, что не знаем, за что хвататься, что искоренять в первую очередь, а она о такой ерунде — праздник не тот! Но как в капле воды отражается весь небосвод, так в каждом крохотном эпизодике видна главная, на мой взгляд, беда нашей школы — отсутствие профессионализма. Кажется, что это не школа, просто милые и не очень милые, молодые и не очень молодые тети собрали, говоря словами Л. Толстого, «в одно небольшое место» много-много мальчиков и девочек и теперь пытаются их чем-то занять. И на события в этих, так сказать, коллективах реагируют по-домашнему, кто как может, кто умно и честно, кто неумно, а кто и вообще никак. Больше всего мне нравится, когда матерям говорят: «Вы позанимайтесь с вашим ребенком математикой (письмом, историей, английским, географией, алгеброй, химией и прочая, и прочая, и прочая...)» Мне кажется, эта столь обычная в школе фраза (как говорится, поднимите руки, кто ее слышал) — приговор нынешнему состоянию методики как науки. Раз в представлении учителя любой родитель с любым вполне непедagogическим образованием способен научить тому, чему не удастся научить учителю-профессионалу, значит, никакого знания для этого не нужно, стало быть, и науки никакой нет. Если б еще хоть объяснили, как именно заниматься, книжку бы какую порекомендовали — куда там! Не знаю, как другим, а мне тяжело заниматься тем, что я плохо знаю и плохо понимаю: физикой и математикой, алгеброй и химией, например. Мы говорим и пишем — в учителя только по призванию, иначе ой-ой-ой. Зато швея или инженер в роли учителя на дому — что ж тут удивительного?

Сшить зайца и написать реферат о творчестве Рокотова, склеить елочную игрушку и подготовить доклад о советской архитектуре, написать сочинение по картинке и связать шарф, решить 20 задач по физике и купить чулок в резинку для создания куклы — это далеко не полный список дел многодетной мамы на неделю. Нет, конечно, я не пишу все это сама, но я объясняю, где взять материал, как пользоваться энциклопедическим словарем, учу вдевать нитку в иголку и звоню подруге: «Лора, приезжай вязать с Маней шарф, а то будет двойка». Что делать моей соседке, не изучавшей особых наук и не имеющей навыка работы с книгой?

Меньше всего я хочу в очередной раз сказать, что, мол, учителя такие-сякие. Самое, на мой взгляд, поразительное, что хорошие никак не переведутся, кто тихо, а кто и энергично барахтается и тонуть не желает. Но и тонут в тине мелочных придирок многие. И при этом полное отсутствие каких-либо критериев оценки и огромное количество каких-то тайных, потому что мне так их никогда и не удалось увидеть, инструкций.

Чуть заикнешься, за что такая, а не другая отметка, — напоминают об инструкции то ли министерства, то ли РУНО, то ли прошлого года, то ли позапрошлого. И вот я хочу сказать: если у нас демократия и гласность, почему не вывесить все эти инструкции в вестибюле школы вместо нелепых правил для учащихся? Что это за государственная тайна такая — как учат наших детей? Или учебная работа, как новый наряд короля, видна только посвященным, и исполняющие эту работу смертельно боятся, что какой-нибудь невинный родитель заметит, что король гол?

Прихожу я как-то в школу по делам родительского комитета и встречаю в пустом коридоре суровую даму в меховой шапке. «Что вы здесь делаете?» — ледяным тоном милиционера, поймавшего нарушителя, говорит она мне. Объясняю: я мама, пришла по делу. «Родители не должны находиться в школе во время уроков, а только в субботу после пяти» — тем же тоном. Объясняю: я педагог, в субботу тоже работаю, иду тихонько и мешать никому не собираюсь. «Немедленно покиньте школу, или я напишу замечание директору, что по школе ходят посторонние», — угрожает она, и я вскорости убедилась, что эта большая дубинка была пущена в ход, так как наткнулась я на учителя учителей, иными словами, на проверяющую из РУНО. Когда я пришла на следующий день после уроков (не в

субботу!) поговорить с учительницей дочки, меня застала на месте преступления директор и обрушила свой гнев на подчиненную ей беременную учительницу, посмевающую — подумать только! — заговорить со мной не в субботу после пяти. И потом на повышенных тонах мне: «Проверяющая записала, что по школе ходят посторонние, нарушают учебный процесс!» Пытаюсь оправдаться: «Да кто ходит-то? Вчера была я да Авакян (это тоже активистка родительского комитета. — И. С.)» «Нет, еще папа из 1-го класса». Тут уж я не выдержала: «Да этого папу нужно в дверях всем учительским коллективом с цветами встречать, и чтоб пионеры ему салют отдавали!» Не от нашествия родителей страдает школа — от их отсутствия. Как захлопнулись тогда первого сентября школьные двери, так чтоб и никто уж из нешкольников и неучителей туда не проникал — вот чего бы хотелось некоторым работникам просвещения. Право, было бы гораздо удобнее, если б детей находили в капусте — этот полезный овощ не имеет дурной привычки интересоваться своими отпрысками.

Это в кино выглядит очень мило, когда многодетная мама посещает в один день то ли семь, то ли восемь родительских собраний, и самое неприятное, что она слышит, это «Ваш сын Петр ленится».

Мне попадались такие учителя, которые вообще ни одного доброго слова сказать про моего ребенка не могли. Помню, как я попросила после получасового перечисления мальчишеских грехов: «А теперь скажите, пожалуйста, что-нибудь хорошее про него. Ну хоть что-нибудь!» Наступила тяжелая, длинная пауза. Я — профессиональный педагог — знаю, что так не бывает — всегда есть хорошее, да и ребенок этот — мой сын, вполне обычный мальчишка. Но дочь рассказала мне о жуткой сцене, которой она, вернее, все они, одноклассники, были свидетелями: рыдающая мать «самого-самого мальчика», шатаясь от горя, вышла из учительской и, схватив сына за плечи, стала головой бить его об стену — за свой позор, за те оскорбления, которые только что выслушала, за бессилие свое методическое и педагогическое. Такую вот воспитательную работу с ней провели, так ей помогли, такие приемы подсказали. У моей близкой подруги сын приемный, он уже многое пережил в жизни, и ему трудно, и с ним трудно, но советов учителя (Учителя!) не будет — они, педагоги, не в курсе, что делать, так же как и родители-инженеры.

Пусть мы поторопились со всеобучем и сейчас признаем это, пусть данный мальчик в самом деле необучаем, но нельзя сделать вид, что всеобуча не было, что мальчик этот, кричащий «Мама, мамочка!» в школьном коридоре, что этот ребенок фантом, некая ошибочка в нашей школьной жизни, которую мы уже вот и исправили почти что. Или вот другая школьная история с подростком и его, как говорится, «старшими товарищами»:

«У меня двое детей, старший сын в 9-м классе. Когда он был в восьмом, в нашем доме появилось новое — магнитофон и „хеви метал“. Музыка в нашем доме прижилась, а цепи и нарукавники нет. В 9-й класс взяли с трудом: и плакала, и просила, и в районе ходила — не место моему сыну в школе. Первая причина — ходил он не в форме. Попробуйте купить форму на рост 1 м 85 см. Вторая причина — прическа, уходит из дома нормальный, в школе вздыбит волосы, рукава до локтя поднимет и брюки заправит в сапоги. Представляете вид? Дома все нормально, внимательный, любящий сын, заботливый брат. У нас та же дружба в семье. А в школе дерганный, руки в карманах, пререкается с учителями. Был мой сын участником школьной, районной и городской олимпиад по биологии, и на одной из олимпиад он рассказал, что якобы летом в Одессе он курил наркотики. Но ведь на самом деле он никогда в Одессе не был. На мой вопрос: „Для чего это было?“ — он ответил, что все были такие скучные и он решил их отвлечь.

Недавно случайно прочитала его письмо, он пишет о себе, что ведет ночной образ жизни, каждый вечер ходит в варьете, а потом на всю ночь... Зачем наговаривать? Я чувствую себя очень беспокойно. Что это? Мне кажется, это до добра не доведет. Порекомендуйте, как мне воспитывать сына дальше.

М.Д.»

Меняются времена, меняются и нравы, бессмертна, наверное, только человеческая

косность. Позволю себе привести цитату из произведения, отделенного от нас почти полутора столетиями: «Одевался он всегда в черное и не терпел ничего пестрого не только на себе, но и на своих подчиненных; стригся весьма коротко; длинные же волосы, эспаньолетки и бороду считал решительным признаком вольнодумства и о людях, отпускавших себе подобные украшения, говорил, что они **коммунисты**» (выделено автором. — И. С.). (Плещеев А. Н. Папироска. — В кн.: Живые картины. — М.: Моск. рабочий, 1988. — С. 308) Правда, знакомый образ? Вся разница, что длинные волосы и проч., и проч. теперь называются не коммунистическим, а буржуазным признаком. Спокойнее всего прожили эти полтора-два десятилетия лысые. А вот без одежды никак не обойтись, тут уж во все времена было и есть широкое поле борьбы за «наше» и против «ихнего». Мальчик закатал рукава до локтей — ну уж ясно, что последствия будут ужасны. Мир не мир, но уж школа пошатнется непременно, если этого лохматого не изолировать куда-нибудь подальше, как можно дальше с наших светлых педагогических очей. Ходит без формы. И потрясенные учителя хватаются за голову: «Он фармазон, он пьет одно стаканом красное вино!»

Мама беспокоится, и это так по-человечески понятно: она впервые близко столкнулась со взрослением человека, это ее первенец. Но учителя — ведь это же в конце концов их профессия, об этом написано в сотнях умных и не очень умных книг, про эту самую пору становления, осознания себя личностью и т. д. У них-то не первый такой мальчик. И честно говоря, становится страшно: то-то и оно, что не первый, что эта система — отработана на множестве голенастых и горластых, лохматых и неуклюжих, в сущности, абсолютно незащищенных детей.

Случалось ли вам, о сограждане, сидеть на скучных собраниях? Пусть откликнется тот, кому не случалось — это диво более редкое, чем теленок с двумя головами. Как мы ведем себя? По-разному: кто вяжет, кто книгу читает, кто кроссворд разгадывает, кто дремлет с открытыми глазами. Как оживляется аудитория, если что-то случается: загремел стул, ворона села на подоконник, пошел дождь. Учителя должны бы быть благодарны мальчишке, который расшевелил сонное царство: рассказал леденящую душу историю о наркотиках и варьете. Беда в том, что у них нет ни педагогических знаний, ни интереса к этой работе, ни способностей к ней. А вот мальчишка-то неплохой психолог: он точно понял, чего не хватает и какую «бомбу» тут надо взорвать. И не побоялся вызвать огонь на себя — тоже, между прочим, неплохое качество. Я слышала от очень известного и авторитетного педагога, что настоящим учителем может быть только «трудный» ребенок, что из гладеньких учителя по призванию почему-то не получаются. Так, может, этот мальчик будущий Макаренко? А что если его сегодняшние учителя войдут в историю как душиатели завтрашнего учителя? Даже неловко в очередной раз повторять занудную истину — дело не в прическе и не в одежде, а в том, что за человек вырос. Но к сожалению, оценка «по одежке» дело настолько привычное, что и самые-самые свежие новации в педагогике все танцуют от этой старой печки. У нас, например, в институте ввели анкеты для оценки преподавателей студентами, и там есть графа «внешний вид». То есть если кому кажется, что преподаватель одет слишком модно (или слишком немодно), то он ему поставит двойку, тройку, единицу — что захочет! Наши студенты скоро придут в школу учителями, так что традиция «Я лучше знаю, что тебе носить» не прервется.

Самое трудное дело на свете — быть собой. Не длинные или короткие волосы, не «балахон с кистями» как таковой, а наш ребенок, скучающий на собрании, мечтающий о чем-то этаким — флибустьерском, по-заграничному, разбойничьем, по-нашему, примеряющий на себя чужие судьбы, и чужие времена, и чужие нравы! Мы — увьи! — хорошо усвоили, что нам не бороздить моря и не видеть солнечной Бразилии. Мальчишка придумывает себе ночную жизнь, а вот писатель А. Грин придумал целую страну — города Зурбаган, Лисс, людей с романтическими судьбами да и «ненашу» фамилию тоже. Может

быть, этот парнишка — будущий крупный писатель, и его сегодняшние учителя войдут в историю, как душиатели завтрашнего писателя?

А может быть, все это отболит, отпадет, отшелушится, как обожженная солнцем кожа, и он научится быть, как мы, сонным, равнодушным или станет, как та миленькая, вполне скромно одетая девочка, которая кричала мне: «Нас Родина призывает работать в пионерский лагерь, а вы своим „незачетом“ мешаете мне откликнуться на призыв Родины». О вкусах, как говорится, не спорят, но, по мне, лучше раскраситься, как индеец на тропе войны, чем помянуть слово «Родина» в таком контексте.

Или мальчишка не выдержит этого вечного напряжения, борьбы, противостояния — не все, между прочим, выдерживают — и сделает то, о чем полусерьезно говорил: «Мне сейчас остается только повеситься», и не войдет в историю никем, но его-то учителя, хотевшие, как лучше, чтоб был человек умеренный и аккуратный, неужто и они не войдут в историю нашей педагогики с надписью: «Осторожно, злая учительница!» «Самое трудное — работать с родителями» — в этом, кажется, сходятся все учителя, потому что никак не могут примириться с этими нелепыми мамами, которые твердят, что мальчик моет какую-то там посуду, когда у него по математике двойка на двойке. С тупыми отцами, которые все пытаются что-то объяснить, когда в сочинении их дочери тридцать две ошибки! Быть матерью — тоже, наверное, профессия, и непрофессионально матери кивать головой, когда перечисляют недостатки ее ребенка, и не пытаться возразить, защитить свое дитя.

Много лет назад я, восьмиклассница, обстригла косы и обрезала модную челку — с мамой чуть не обморок был. Скандал был до небес, но от крика косы почему-то не выросли, а на следующий день в школе меня вызвали к директору и велели привести мать. «Это из-за прически?» — спросила мама и, услышав утвердительный ответ, подошла к зеркалу и обкорнала челку себе. Так она и сидела перед директором и гордо мотала кривой челкой в ответ на гневные тирады о плохом воспитании. «Боюсь 1 сентября, жду его с ужасом», — написала в редакцию другая мама уже из другого города. Скучная история, потому что было это и есть, и кажется, что и всегда будет. Уже вроде искоренили процентоманию, повсеместно ввели творческий подход, уже и формализма больше нет от Москвы до самых до окраин — а этот мальчишка все никак не осознает, что учение — свет, а неучение, сами понимаете, ведет к второгодничеству, и это совершенно справедливо. Так и маме этой строптивой сказали, когда она свой дурацкий вопрос задала: «Ведь вы его на второй год не оставите?» Так прямо и ответили вопросом на вопрос: «А как вы думаете?» То есть, мол, тут и думать нечего, все по справедливости: он нам хамство, а мы его вежливенько двойкой по голове, он нам безделье, а мы его опять двоечкой. И все мои материнские инстинкты встанут на дыбы, готовые в бой за чужого и своих детей, потому что что-то здесь не так, не так, не так с этой справедливостью, с этими двойками и тройками.

Откроешь газету — прямо стон стоит учительский — завывают «отдельные — некоторые — нехорошие» отметки, запретить, не давать завывать, сколько ты поработал — столько и получи, хоть десять двоек по десяти предметам, справедливо чтоб!

И вот я хочу задать простенький вопросик: если такая всеобщая болезнь — завышение, то куда же подевались отличники, товарищи? Или все дети так разом поглупели? Говорят, нет, наоборот, информации больше и того, и сего. Или программа такая сложная, что ее в принципе невозможно усвоить? Опять нет, по литературе и русскому языку, например, за последние годы одни бесконечные сокращения часов и изучаемых произведений.

Помнится, в нашем 1-м классе из 25 человек в первой четверти отличников было 18, а золотая медаль была вещь вполне обычной. Я тут как-то мини-исследование провела, опросила своих коллег лет 45–50 насчет школы, оказалось, чуть ли не каждый третий кончил школу с золотой медалью.

Не «липовые», значит, медали были, это ученые, доценты, профессора.

Нынче у меня дети в школу ходят, и ни в одном классе больше одного, ну в крайнем случае двух отличников не бывает, а часто и ни одного, да и хорошистов раз-два и обчелся. Зато такого ребенка, чтоб не было текущих двоек и троек, фактически нет. У всех — тройки,

понимаете, у всех! Могу сказать почему: ну, первое — опять скука: несмотря на все запреты, ставили и ставят за отсутствие линеек, карандашей, ручек, физкультурной формы, угольников, тетрадей, красок, кисточек, альбомов, транспортиров, контурных карт, ластиков и прочая, и прочая, и прочая двойки, а потом, хоть и пять получи, выводится-то средняя — пять плюс два — семь да пополам — три с половиной, ну и чтоб завышения не было — тройка.

Второе — двойки «воспитательные»: не слушал, не сделал, не смотрел, не писал — два по математике и русскому, географии и истории. А также наоборот: делал (голубей), смотрел (в окно), слушал (товарища), писал (записку) — двойки по остальным предметам. Дочка-второклассница приносит двойку по физкультуре: смеялась на уроке. Но ведь не на контрольной по физике — на физкультуре! Ведь для этого и нужна эта физкультура — побегать, попрыгать, посмеяться, поиграть. И родителям: примите меры! Да как же я приму их, если меня нет в классе! Ведь не пишу же я в дневник учителю: примите меры, сын не хочет мыть посуду. Впрочем, я не точна: я должна бы, по мысли авторов школьного дневника, писать доносы на своего ребенка, т. е. ставить оценки (естественно, не завышая их) за домашний труд, за его любовь ко мне, его помощь мне. Когда-то мы такие стишки учили: «Мать за каждое „люблю“ платит дочке по рублю», очень смешно было. А теперь по справедливости: за каждое «люблю» — пятерка, за «отстань» — двойка. Так мы их, детей этих, возьмем в педагогические клещи — и не вырвутся, не вывернутся, всех причешем и уши им вымоем, всех в люди выведем.

Но это я отвлеклась, а «воспитательные» двойки тем временем суммируются с оценками за знания, и ставится средняя тройка. Это еще что — за поведение! Я как-то зашла узнать, почему у сына три по черчению, а учительница мне объяснила: «Мне его характер не нравится!»

Есть еще и вовсе случайные двойки, так называемые коллективные. Класс чего-то взбудоражен: или только что физкультура кончилась, или солнце пригрело, или Иванов смешные рожи корчит — учитель никак не может установить тишину, и тогда он выставляет столбик двоек, всем тридцати пяти ученикам в журнал. А говорят, учителя боятся проверок! Ничего они не боятся, а то бы не было этих аккуратных змеючек друг над другом.

Есть двойки и тройки за помарки и исправления, а начнешь говорить, сразу возражают, что инструкция такая есть, мол, снижать. А уж эту-то в отличие от той, что, дескать, не снижать, не выполнить ну никак нельзя, ни-ни! Не может быть такой инструкции, чтобы каждому первачку за каждую каракулю — тройку, чтоб каждому десятикласснику за каждое зачеркнутое в сочинении слово — один балл долой: нечего тут соображать в процессе, раньше надо было думать!

Учитель вошел в класс — инструкция осталась за дверью, а совесть он взял с собой. У меня дочка-первоклассница как-то понесла в школу макулатуру: «Мама, мы всем классом спасем одно дерево». Вернее, ей было трудно нести, брат за нее тащил до школы, ну а уж обратно она эти пять килограммов бумаги и два литра слез волокна сама — оказывается, надо было связать в пачку, а она в пакете принесла, и у нее не приняли. Честное слово, другой бы ребенок эту бумагу до первой помойки донес, а моя дурочка назад принесла: «Мама, давай свяжем!»

Неужто и на это инструкция есть, чтобы ребенок обязательно плакал всю дорогу до дома? Учительница ее не злодейка, милая и хорошая, но что ж она сама-то не догадалась связать? Не нужна эта макулатура — так хоть выкинь ее, но маленькому-то зачем это безразличие к нему демонстрировать? Может, найдено слово? Учителя БЕЗРАЗЛИЧНЫ к детям, вот они и не смотрят, кто там пошел домой в слезах от записи в дневнике или от очередной двойки, нет им дела, почему мальчишка, набывчившись, смотрит в пол и бурчит что-то под нос, какие там обстоятельства, что опять девчонка тетрадку забыла, вот они и твердят это святое слово «справедливость» с утра до вечера, будто они точно знают, кого в какой пропорции карать.

Есть просто подлые занижения, иначе не назовешь. У меня в группе был студент, у

него по всем предметам в школе все годы были пятерки, но в 10-м классе ему вывели в году «хорошее поведение», понимаете, не «примерное», а просто хорошее. «Дима, — спрашиваю, — что вы такое сделали, что уж никак нельзя было „пять“ по поведению поставить?» Смеется. Трусы и подлецы ему поставили, но он снисходителен: «Да вы же знаете, медаль так трудно утвердить». И лентяи его учителя, трудно им.

Или вот еще история о «справедливой» оценке. У дочки в классе есть девочка, которую родители, что называется, «держат в строгости», а у бедняжки день рождения совпадает со школьными зимними каникулами. И родители ее предупредили: «Будет хоть одна тройка — ни Нового года, ни дня рождения не будет!» Отменим, так сказать, твое существование, троечница несчастная! Этот родительский «дамоклов кнут» широко обсуждался в классе, и учителя все о нем знали, но по физкультуре девочке тройку-таки поставили — заслужила за что-то. Не верю, что это справедливо! Не верю, что это и есть новое в педагогике — восстановление справедливости, реформа, борьба с процентоманией.

У меня есть знакомый 83 лет, он рассказывает, как когда-то не выучил математику, а почему — уже забыл. Зато не забыл за 70 лет, как учитель сказал ему: «Вы сегодня не знаете урока, но это случайность, садитесь и выучите в следующий раз». И не поставил двойку. А ученик почему-то не пошел по «плохой дорожке» от этой невесторжествовавшей справедливости, прожил честную, трудовую жизнь. И таким образом поговорим о тех двойках, которые поставлены за незнание урока, уж эти-то справедливые и нужные. Они говорят о том, что ученик Петров 20 сентября данную тему не знал. А если он 21 сентября эту же тему выучил и ответил, то рядом с заслуженной двойкой поставят заслуженную пятерку — но сумма-то опять три с половиной. Ну и что же отражают эти три с половиной? Знания Петрова? Нет, эти знания мы оценили на пять. Его прилежание, но это другая графа. А это ему наказание вместо порки, гуманное такое. Пусть порют несознательные родители (примите меры!), а мы справедливую оценку поставили. А потом за эту же двойку — наказание. Еще и попрекают: «Учишься на двойки и тройки!» Но ведь он исправил! Это не имеет значения. А вот в джунглях, где жил Маугли, был такой Закон Джунглей, одна из прелестей которого состоит «в том, что с наказанием кончаются все счеты. После него не бывает никаких придинок».

Уже подняли зарплату учителям, уже увидели мы по телевизору, что можно работать по-другому, уже мои студенты в школу пришли учить, а все то же тоскливое серое болото троек, двоек, раздражения, что дети не умеют, не знают, не хотят и т. д.

Я всегда прошу пятикурсников, работающих в школе, приносить на занятия детские тетрадки с языковыми ошибками, чтоб мы могли вместе эти ошибки разобрать, найти их причину и т. д. И вот в прошлом году мне принесли тетрадку восьмиклассницы — вся группа лежала от хохота, а мне было не до смеха. Девочка — дитя всеобуча, ей бы не надо учиться, во всяком случае, в обычной школе, она больна. Но невежество ее учителей, как профессиональное, так и нравственное, не дает им ни понимания, ни сочувствия. Они ведь и в классе ее на смех поднимают. Я их этому не учила, но я чувствую себя причастной к этому смеху. «Товарищи, — говорю я им, потому что это уже мои товарищи по работе, какие есть, — вот у ребенка ноги нет, а учитель физкультуры велит ему бежать, он бежит и падает — неужели смешно?» — «Нам никто этого не говорил, — говорят они. — Так что же нам делать, не учить ее?» — «Не знаю, что, — отвечаю честно, — но мне кажется, учитель должен как можно чаще думать о своем незнании, неумении, а то ему не понять ребенка. Ребенок не знает — это не смешно, не умеет — это не страшно, потому что и мы с вами не знаем и не умеем». Не понимают: «Но ведь ошибки надо исправлять! У нее же ошибки — вот, и вот, и вот. Мы же должны быть справедливыми: сколько заработал, столько и получи». Нет, видно, долго еще просительного заглядывать родителям в неумолимые учительские глаза: «Ведь он хороший мальчик, ведь вы его не оставите на второй год?» Это ведь еще студенты пока, учителями они будут даже не завтра, а заговорила я тут как-то с ними о гуманности к так называемым слабым, так группа как один человек поднялась с мест, и стоя, эти милые девушки стали мне кричать: «А пусть родители переводят их в

спецшколы!» И тогда я рассказала им историю о незаслуженной пятерке. У меня есть очень близкая подруга, которая в институте училась очень плохо, потому что совсем ничего не делала. Умный, добрый, хороший человек, она, что называется, «не удостаивала занятия усердием», а довольствовалась тройками, да и то не всегда с первого раза. Так и доучилась до последнего курса, так и добралась до последнего экзамена — по литературе. Ну а о том, что было на экзамене, я знаю от лаборантки, с которой тогда дружила. Ответила моя Люда как всегда кое-как, ну и комиссия была единодушна: «Тройка». Кто-то возьми да и скажи: «Ну, она рада будет, у нее четверок-то и нет почти». И тут проснулся дремавший профессор — литературовед, он такой был старенький, сгорбленный, и над розовой лысиной седые волосы — настоящий одуванчик, пока не начнет читать стихи. Он не больно-то вслушивался в невнятный лепет отвечающих, а тут: «Как это четверок нет? А пятерок?» — «Что вы, — засмеялись члены комиссии, — пятерок ни одной, это точно, да она же троечница». — «Так не может быть, — сказал профессор, — человек не может кончить институт, ни разу не получив пятерку». — «Может, может, у нее сегодня последний экзамен, она уже кончила». — «Нет, не может. Поэтому мы поставим ей пятерку». Все опять засмеялись забавной шутке старика. «Да ей тройки много!» — «Нет, мы поставим ей пятерку, кроме нас некому — экзамен последний. Я не подпишу тройку». Его уламывали почти час, предложили сойтись на четверке — он стоял мертво: «Только „отлично“». Весь свой научный и человеческий авторитет этот старый большой педагог положил на экзаменационный стол ради абсолютно незнакомой девочки. И победил! Нас, уже бывших студентов, позвали в аудиторию для объявления оценок. В напряженной тишине читают фамилии, и вдруг Людке — «отлично». Пауза — а потом — стыдно вспомнить — гомерический хохот. И то, чего не могли сделать ни вполне заслуженные двойки, ни проникновенные нотации, вдруг случилось. Людка вспыхнула и выскочила из аудитории. Много лет спустя она призналась мне: «Как же стало стыдно! Ах, если б кто раньше поставил мне эту пятерку — как бы я училась». — «Что же теперь, всем пятерки ставить?» — спросили меня. Нет, конечно, да и не в оценках дело. Я глубоко убеждена, например, что бывают такие обнаженно-искренние детские сочинения, которые припечатывать «баллами» просто безнравственно. «Так что, ничего не ставить?» — удивляются мои студенты. Нельзя придумать педагогические шпаргалки на все случаи жизни, зато непременно надо научиться видеть других людей, а не только себя. Чем раньше мы начнем учить ребенка этому умению, тем лучше. Может быть, сейчас его вывезли на прогулку в шерстяном одеяльце — учителя моих внуков. И поэтому я мечтаю, вспоминая Льва Толстого: «Я убежден в том, что я стариком 70 лет буду точно также невозможно ребячески мечтать, как и теперь». Мечты о том, какой быть школе, часто кажутся невыполнимыми, а иногда до удивления приземленными: ну, например, чтоб получение матпомощи не было унижительнейшим из школьных мероприятий, чтоб в школьной библиотеке было необходимое количество книг, указанных в программе по внеклассному чтению, чтоб физкультурная форма не размножалась до бесконечности: для зала и для улицы, для бассейна и для лыж, кеды, и кроссовки, и чешки, и лыжные ботинки с креплениями мягкими и жесткими, а шапочка обязательно шерстяная, а ушанка — ни в коем случае. Чтоб не было такого бюрократического внимания к цвету чернил и форме прически, зато было бы профессиональное умение опереться на сильные стороны характера ребенка и человеческое снисхождение к его слабостям. Вертится на уроке — еще не самый смертный грех, честное слово. Чтоб мы, родители, были союзниками в нелегком труде учителя, а они, учителя, помощниками в нашем родительском деле.

Хотелось бы мне, чтоб учитель не выискивал, за что бы вклеить двойку, а думал, за что бы пять поставить. Если за почерк можно снизить, то, может, и поднять за него можно? Если ученику плохо дается математика, может, поручить ему доклад о жизни Эвариста Галуа, например? Или оценить на «отлично» исчерканное сочинение — за то, что искал лучший вариант?

И еще хотелось бы, чтоб в школе, как и везде у нас в стране, торжествовала гласность. Пусть в вестибюле школы висят не безликие плакаты, а нормы ошибок на каждую оценку —

крупно и для всеобщего сведения. За что нельзя ставить — тоже, все эти таинственные инструкции и рекомендации — ко всеобщему обозрению. Чтоб каждый школьник, каждая мама могли возразить против двойки за характер и не ту майку, за несданную макулатуру и за «бегал на перемене». И чтоб ошибочное — исправлялось, как это можно сделать везде, даже в ведомости на зарплату, но не в школьном журнале. Хочу, чтобы учителя не боялись детей, потому что это от страха и неумения они лупят их двойками, а потом выводят средние тройки. Хочу, чтоб 1 сентября не было началом детских страданий и материнских слез.

...Одного мальчика вызвали к доске решать задачу. Он писал, стирал, весь перепачкался мелом, наконец кончил. «Так чему же равен икс?» — спросил учитель. «Нулю», — белозубо улыбнулся ему в лицо этот кудрявый нахал. «У Вас в моем классе все равно нулю. Садитесь и пишите стихи, у Вас это лучше получается», — сказал учитель.

Это из воспоминаний о Пушкине. О его школе. И его учителях. В нашей-то ему бы показали «нуля»!

Продолжение следует

Меньше всего мне хотелось бы, чтоб создалось такое впечатление, что я за детскую вседозволенность: делай, детка, что хочешь, хоть на голове стой, хоть вору, что плохо лежит. Я за то, чтобы отличать серьезное и несерьезное, форму и содержание человека.

Я убеждена, что воспитание по форме должно быть мягким, но по сути — железным. Нельзя подличать, нельзя предавать, нельзя писать доносы — потому что нельзя. Не может быть этому оправданием ни то, что донос не будет иметь последствий, ни то, что «все так делают».

Да, ребенок должен чувствовать себя защищенным: что бы ни случилось, мама простит. Но сам-то он не должен прощать себе даже случайных отступлений от законов человеческой порядочности, хоть бы и не были эти отступления уголовно наказуемыми.

Вот девочка пишет в газету: «Мама одевает меня в такие коротенькие и старые платья, что стыдно выходить на улицу», и в этой немудреной фразе как бы сконцентрировано и воспитательное прошлое, и настоящее, и даже будущее слегка проглядывает. Давайте взглянемся. Итак, прошлое — мама старалась быть мамой. Она кормила и одевала своего ребенка, «чтоб не стыдно было перед людьми», и по-видимому, считала это самым важным, а не то, как там у девочки душа. Вырастает только то, что мы растим, часто невольно. Вот и выросло настоящее — та девочка, которая пишет письмо: как одевала мама ее в год, как одевала в три, в четыре — и это положение вещей не вызывало сомнений ни у кого, так и сейчас у девочки нет сомнений. Мама должна ее одевать и одевает — беда вот, что плохо. На улицу выйти стыдно ребенку. Не за себя, за маму стыдно. Вот какая мама — одеть не может. В голову девочке не приходит, что можно самой выйти из положения: научиться шить, например. Трудно? Но это вот и есть трудовое, т. е. трудное воспитание: трудишься-трудишься, и из двух коротких платьев получается одно нормальной длины. А если не очень удачным этот первый блин вышел, то стыдно только за себя: какая я уже взрослая, а такая неумелая. И вывод: буду учиться.

Это я по поводу «коротких» платьев, а по поводу «старых» хочу сказать отдельно. Интересно, девочка мама ходит в старом или в новом платье? И заметила ли это дочка — мамино старое платье. И дай бог, чтобы будущее не углубило эту душевную незрячесть по отношению к маме и не распространило ее на будущих девочкиных дочек и сыновей. Мамы-мамочки, не в тряпке ведь дело, но как это мы умудрились их так воспитать, этих наших изначально прелестных детей, что им про нас просто скучно знать. Вот и еще ребенок, Валя 15 лет, пишет: «Нет сейчас для нас голода и горя. Но при чем здесь мы? Мы же не виноваты, что научно-технический прогресс не стоит на месте». Не ходит сам собой научно-технический прогресс, детка. Это люди его двигают, в том числе мамы, папы, бабушки и дедушки, тети и дяди — все. Вы-то пока ни при чем, это мы — взрослые — при чем. Попробуй разок такой эксперимент провести — не есть один день. Только, чур, совсем не

есть, а не так, что есть не буду, а съем тайком от всех мороженое! А когда к вечеру сильно есть захочется, закрой глаза и представь, что и завтра не будет, и что маленькой сестренке тоже нечего есть. Ей — тоже. И если тебе за кого-то другого, слабого, станет больнее, чем за себя, значит, ты человек, а если нет — не знаю, что и сказать тебе, девочка. Очень это страшно, если за себя больно, а за другого никак.

Мне одна женщина рассказывала, что в войну она в бомбоубежище с тремя маленькими ребятами — им было год, два и пять лет — не ходила. «За ночь несколько раз бомбят, надо поднимать детей, пока поднимешь, дойдешь — уже отбомбили, возвращаемся назад, и через час все сначала», — рассказывала она мне. И когда объявляли воздушную тревогу, мать не будила детей, а складывала их, сонных, на одну кровать поперек, сама ложилась рядом вдоль, чтоб если убьют, то всех сразу. Так вот шел «научно-технический прогресс», как ты выразилась, Валечка. Среди этих детишек могла быть твоя мама. Спроси у своей бабушки, что делала она тогда, спроси, что это значит — горе. Мы, взрослые, виноваты перед детьми — мы не объясняем им, что это такое, бережем их, подсовываем им самый сладкий житейский кусок счастливого-пресчастливого детства. Даже в мелкие бытовые неприятности не посвящаем их, как-то выкручиваемся от полочки до полочки, что-то такое перелицовываем и при этом стараемся, чтобы дите-то было, как говорится, не хуже, чем у других. Вот они, бедные, и вырастают с оскоминой от этих сладостей, неумелые, не ведающие зла, а значит, и добра тоже, зависящие от нас, как не умеющий ходить младенец от помочей. А время, история не кончаются на бабушках, они продолжают и сейчас, и мы — история, и эти подросточки — тоже история, вовсе они не только начинают жить, они давно живут и дышат общим с нами историческим воздухом. Детям кажется, что Великая Отечественная война была чуть ли не тогда же, когда и Куликовская битва, но вообще-то отношение к жизни, в том числе к таким мелочам, как одежда, складывалось у наших мам и бабушек под влиянием этой войны. «Все было так просто, — рассказывала мне одна знакомая, — ничто не имело значения, кроме жизни». А моя мама, бабушка моих детей, работала на строительстве инженером. У нее размер обуви 35, а сапог меньше 42-го размера не было, поэтому она ходила вместе с рабочим. Мама делала шаг, а потом вытаскивала ногу из сапога, а рабочий вытаскивал из грязи сапог и переставлял его. Тогда она ставила в него ногу, и процедура повторялась со следующим сапогом, а руки у нее были заняты геодезическими инструментами, потому что она не прогуливалась, а работала. И думала она не о том, красиво ли она одета, а как лучше сделать свое дело — от всей тяжелой страды Родины на ее плечи легла эта часть, далеко не самая тяжелая.

Отсвет этого равнодушия к тряпкам лег и на наше детство. Я и в институте ходила в байковом платье и, честное слово, не чувствовала себя несчастной, и никому не приходило в голову жалеть меня. Конечно, «научно-технический прогресс» одаривает нас своими достижениями в виде вареных штанов и футболок с надписями «Ай лав». И все-таки эти тряпки остаются тряпками, а не становятся важнее жизни, важнее совести, важнее мамы.

«Помогите, — пишет девочка в газету, — мама плохо одевает меня!» Как же помочь тебе, милая? Скинуться всей редакцией по рублю тебе на платье? И ты возьмешь эти незаработанные деньги? Неужели возьмешь? Не хочется думать так. Или напечатать в газете крупно фамилию твоей мамы — ай-я-яй, товарищ мама, как стыдно! И мама побледнеет, заплачет, и побежит, и купит тебе платье. И ты наденешь его? И будешь гордиться собой: вот как я борюсь за светлое будущее? Не могу поверить, потому что всегда надеюсь на лучшее в человеке. Не только спокойное отношение к одежде досталось нам от недавних лет, но и вот это нежелание понять товарища ли, маму, нетерпение поскорее победить «противника», поскорее — и любой ценой, хоть через газету. Я могу понять, что хочется надеть что-нибудь новенькое, мне и самой иногда этого хочется, но нормальному человеку не все равно, откуда эта обновка, получил он ее в подарок или вырвал из глотки у кого-то. Между прочим, моя мама меня и сейчас не понимает. Я говорю: «Ну все, это платье больше носить нельзя, облезло и вышло из моды», А она: «Ты что, прекрасное платье, и совсем

целое». Так разве это плохое человеческое качество, что она Карамзина купит, а на платье ей жалко денег? Понятия красоты и уродства — относительные, как и понятия богатства и бедности.

Хорошо помню, как моя школьная подруга, круглая сирота, детдомовка, получила комнату и на радостях собрала друзей отметить новоселье. И одна девушка пришла в умопомрачительном платье из серебряной парчи. Бедная моя Танюшка! Она так радовалась ярко-желтой кофточке, так любовалась собой перед зеркалом: черненькая, смуглая, темные глаза сияют. Платье лунного цвета заняло всю крохотную комнату, а его шуршание, кажется, было громче музыки, но и тогда, и сейчас это зрелище казалось мне безобразным, потому что модная красавица продемонстрировала и отсутствие сердца, и отсутствие вкуса.

Мне как-то посочувствовали: «Ах, тебе будет так трудно! Шутка ли — три дочери! Одной бриллиантовые сережки, другой бриллиантовые сережки...» Я только засмеялась в ответ: «Надеюсь, я сумею им объяснить, что дорого — не значит красиво, скорее наоборот. Захотят — мы купим серьги, но не тысячерублевый ширпотреб, а красивые, оригинальные и недорогие, конечно». Боюсь загадывать на будущее, но пока моя старшая дочь делает очень оригинальные серьги из пластика и для себя и для меня и расписывает майки по собственным эскизам для всех ребят — лучше, чем десятирублевые кооперативные, и при этом единственные в своем роде.

Так хочу, чтобы мои дети в их будущей, отдельной от меня жизни не раздумывали, что выбрать, если на то и на то денег не хватает: книгу или колбасу, штаны или билет в театр. Как можно научить детей отстаивать свои идеалы, если при этом к собственным-то относиться несерьезно?

Тысячи раз я слышала, что словом нельзя воспитывать, а только делом, но разве бывает глухонемая педагогика? И в наше время, и во все другие минувшие времена растить детей и было, и, наверное, всегда будет трудно, в том числе и материально. Так что у многих создался, если так можно выразиться, традиционный образ многодетной матери — растрепанной и одетой в «старенькое», подсчитывающей бесконечные копейки и «плачущей» о своей судьбе. Не мудрено, что женщины не очень-то рвутся рожать детей — кому хочется быть такой. Мне случалось читать в газете письмо не девочки — взрослой женщины, матери четверых детей, жалующейся на свою «нищету» по сравнению с «богатством» сирот из детского дома № 1 в Сыктывкаре, где директором А. А. Католиков: «Они получают по 875 рублей к выпуску, а у нас в семье по неделям не бывает денег!» Да хоть бы по 8 тысяч получали, неужели среди них найдется хоть один, кто не предпочел бы этим деньгам нормальную семью, мать, братьев и сестер? И между прочим, ничего они не «получают» — они зарабатывают эти деньги в течение всего времени пребывания в интернате. И в этом я никакого ужаса не вижу: ах, детки сажают картошку! Прекрасно, что они трудятся, что интернат учит их работать, а не ждать, открыв рот, когда государство даст им кусок пожирнее. А те 50 000 рублей пожертвований, которые были перечислены сыктывкарскому интернату № 1 после встречи в Останкино, совет воспитанников перевел на счет Детского фонда: детям нужно чувствовать себя не потребителями незаработанных **благ**, пусть и подаренных от чистого сердца, а гражданами, способными помочь тем, кому хуже. Мы с детьми читаем одни и те же газеты и журналы, так что я спросила четырнадцатилетнего сына, когда мы прочли тот материал: «Саня, мы — нищие?» Он только засмеялся: «Нет, конечно! У нас тоже не бывает по неделям денег, зато как отлично, когда они появляются. И разве в этом дело?» Мои дети — мои друзья и единомышленники, мои помощники, а не нахлебники, они не попрекают меня нашим безденежьем — неужто я попрекну их нехваткой обнаружившейся музыкальностью. По вечерам у нас, как в доме Фамусова, «то флейта слышится, то будто фортепьяно», и я не подсчитываю убытки. Мне бы так хотелось, чтоб моим детям светило в жизни те же идеалы, что и мне, как светило они моим родителям, моим деду и бабушке, моему прадеду — подумать только, он был «шестидесятником» в прошлом веке. Конечно, подросток должен пройти и через скепсис, и через фронду, но суть-то, мне кажется, закладывается еще чуть ли не во младенчестве, когда

мы учим ребенка делиться конфетой: главная сладость не в карамельке, а в том удовольствии, которое ты доставляешь близкому человеку.

Дочь меня как-то спросила: «Мама, мы богатые?» — «Опомнись, детка, какое богатство?» — удивилась я. «Так значит, мы бедные?» — не успокоилась она. «Нет, доченька, ты же видишь — у нас все есть: и книги, и фортепиано, мы в Суздаль ездили на экскурсию, в Александров». — «Так какие же мы?» — «Обыкновенные, средние». — «А-а, понимаю, — подвела итог моя Настя, — средняя интеллигенция. Как семья Ульяновых».

Не дай бог, если кто-нибудь подумает, что у меня какие-то необыкновенные беспроблемные дети, которые взрослеют сами собой под моим чутким руководством. Наверное, на необитаемом острове жить было бы и легче и проще: никаких тебе посторонних влияний, расти себе, дитя, становись мамой № 2.

Это из морковного зернышка сама собой вырастает морковка, и из гречишного — гречневая каша, а человеческий длинноногий росток должен сам думать изо всех сил, чтобы вырасти в человека.

Вот такая история произошла у нас в семье. В прошлом году в 5-й класс, где училась моя дочь, пришла новая учительница литературы. Мне она сразу понравилась: молоденькая, только-только с университетской скамьи, хорошенькая, поет чуть ли не на всех языках мира, играет на гитаре, танцует, увлекается восточной поэзией. Глаза сияют, и слова-то какие все чудесные говорит: «эксперимент», «кружок», «литературный журнал», «коллектив». «Ну, думаю, повезло моему гуманитарному ребенку». Честно говоря, я очень люблю молодых, начинающих учителей. Пусть, думаю, не будет ей опыта хватать, зато и спокойствия, душевной апатии не будет, пусть методика прихрамывает, зато сумеет увлечь тем, что сама знает и любит. Так и получилось сначала: дочкины глаза тоже засветились, взалхлеб рассказывает: «У нас эксперимент!» Звонит мальчишке: «Пахомов, ты сделал упражнение? Не подведи!»

Потом что-то попритихли события. «Ну как дела на литературе?» — спрашиваю. «Да ничего», — отвечает. И звонят ей реже, а сама и почти не звонит вовсе.

...В школу я зашла совсем по другому делу, заглянула в класс — сидит учительница Людочка грустная, поникшая. Поговорили о том о сем — и достает она бумажку из кармана и мне показывает: «Смотрите, я на парте нашла, ведь это Настин почерк?» И точно, моей дочери рука, и написано этим знакомым летящим почерком заявление на имя директора школы: «Мы, ученики такого-то класса, просим убрать у нас учительницу такую-то — Людочку то есть т. к. она не справляется... не пользуется уважением... не дает знаний...» У меня в глазах потемнело, и я захотела защитить их обеих — старшую от разочарования в детях, младшую от черной тени этого разочарования. «Что вы, — говорю, — это не она, не моя дочка, это вообще шутка какая-то глупая». Поболтала еще о погоде и бегом домой. Вот сейчас пишу и волнуюсь, а ведь уже год прошел, и эта вся история закончилась давно. А тогда я еле сдерживалась, чтоб не сорваться с порога, выбирала минутку, чтоб мы с дочкой остались одни на кухне. И вот достаю я эту бумажку и показываю ей. Она молчит, только слезы в глазах. И я говорю тихо-тихо, у меня даже голос пропал от волнения, это так нечаянно получилось, но я чувствую, что правильно, что тихо, почти шепотом: «Послушай, ведь это донос. Моя дочь написала донос! Лучше бы ты в один день 5 двоек получила. Лучше бы деньги украла. Избила кого-нибудь. Но донос! Ты! Вы все! Нашли на кого! Она же только начинает, она учится, у нее не получается, ее и так администрация клюет за то и за это, а тут вы с этой бумажкой!»

Слезы у нее ручьем, и она мне сквозь них: «Мама, но мне все говорят, что я подлизываюсь к ней, все перессорились из-за этого эксперимента, каждый хочет получить пятерку, и все злятся, когда получает другой. Я не писала, я вошла, а они пишут, но только у них все было неправильно написано, вот я и показала, как надо».

Посадила я ее на колени, дурочку мою длинную, глажу по голове и ругаю уже сквозь собственные слезы: «Ну ты и молодец, ну и знающий человек, знания на пользу народу, хорошему делу помогла, нечего сказать. Заявленьице — первый сорт, по форме!» Она и

плачет, и смеется, а с колен не слезит, обнимает, поросенок вредный. «Ну ладно, — говорю, — подлизой быть действительно последнее дело, и надо с этим решительно бороться. Вот в воскресенье придет Юля (это моя бывшая ученица) со своим домашним тортом, а мы ей и скажем: „Иди-ка ты отсюда, Юля, не подлизывайся!“ — и торт ей вслед на лестницу выбросим». Смотрит моя дочка широко открытыми мокрыми глазами с ужасом на меня. «Ты что, разве можно? Она же не подлизывается, она же просто хорошо к тебе относится!» — «А-а, — говорю, — тогда не будем с ней бороться, а будем с собой бороться. Вот придет тетя Лена (а это моя бывшая учительница), так мы ей скажем: „Не хотим к тебе подлизываться, уходи!“» — «Нет-нет, тоже нельзя, что ты, ведь вы с ней дружите!» — «Понимаешь теперь? Я — учитель, но это не значит, что я — не человек. Всегда у меня были друзья среди учеников, и бывшие учителя мои тоже стали моими друзьями на всю жизнь. Себя спроси: ты из-за оценок с Людочкой разговаривала и помогала ей? Нет? Ну, я знала, что нет. Так и не смей никого слушать. Пусть, что хотят, говорят».

«Мама, но они не говорили, а орали! Я прижалась к стене, а они, весь класс, кричали, что я подлиза и что учительницу надо выгнать!» — «Нет, детка, не бывает, чтоб кричал весь класс, все тридцать человек. Кричат 5, ну 7, ну пусть 10, а остальные молчат. Просто очень трудно возразить, не все могут, вот они и молчат, хотя и не согласны с теми, кто орет. Они кричат, а ты говори. И смотри на тех, кто молчит, и им говори. И если хоть один встанет к стене рядом с тобой, то вот вас будет уже двое, а значит, „все“ — уже не все. Это трудно, доченька, очень трудно, но ты попробуй. Заявления быть не должно, понимаешь?»

Вот так они растут, наши дети, и, боже мой, как же больно и как страшно выставить свое дитя перед орущей стаей одноклассников. Фильм-то «Чучело» я смотрела, но там девочка оказалась против толпы, так сказать, в силу обстоятельств, а тут я, мать, сама, толкаю ее: «Иди!» Меня-то рядом не будет.

Мне казалось, что мы с дочкой все решили, и до завтра я получаю какую-то передышку, но я недооценила своего ребенка. «А с этим как же?» — кивнула она на мятую бумажку-заявление. «Что?» — не поняла я. «Но ведь это я уже написала. Я должна извиниться». Каюсь: мне показалось, что это уж слишком, ведь и подписи ее не было, и я уверила, что это не она, и главное — пока заявление не подано, оно действительно просто мятая бумажка, так что ничего пока не произошло. «Как я буду смотреть ей в глаза, если не признаюсь и не попрошу прощения? И знаешь, мама, можно я приглашу ее к нам в гости?» Дети наши лучше нас. «Приглашай», — сказала я.

Они не написали это подлое заявление, и Людочка пришла к нам в гости со своим мужем, сидели, пили чай, говорили о школе, о литературе, о детях. Учительница смеялась: «Она за мной целый день ходила: „Простите!“, а я: „Нет, тебя не прощу!“ Потом уж вечером простила».

Но это еще не конец истории. Если уже в ноябре учителю директор сказал: «Мы с вами не сработаемся», то что будет в декабре и январе? То и будет, что всегда бывает: проверки на каждом уроке, придирки ко всему, например, почему в графе классного журнала не написано имя ученицы. Что ж, что не вписывается длинная фамилия и длинное имя — вот у такой-то учительницы все вписывается. Почему примеры на уроках русского языка из каких-то неизвестных японских поэтов? Это непонятно детям, нужно из Пушкина. Что будет? То и будет, что было: стала Людмила Ивановна покрикивать на класс, стала двойки лепить направо и налево за отсутствие тетради и наличие болтовни. Перестал работать литературный кружок, и умер, не родившись, литературный журнал. Она не была молодым специалистом — кончила университет, не была обязана отрабатывать два года в школе, и растить ее администрация не была обязана.

В третьей четверти у моей Насти вдруг оказалась четверка по литературе — невиданное явление! «Людмила Ивановна сказала, что могла бы „пять“ мне поставить, но она боится, что тогда про нее скажут, что у нее есть любимчики», — объяснила мне дочка. А я-то учила: «Верь только себе, слушай свое сердце и отстаивай свое убеждение». Бог с ней, с этой случайной отметкой — у меня на глазах веселая, улыбчивая Людочка всего за год

превратилась в раздраженную и замотанную Людмилу Ивановну, которая и ушла в конце года. А потом сменился и директор.

Но неужели вот это и есть конец? Ведь все-таки где-то в старой тетрадке крупным косым почерком выведено ну абсолютно непонятное детям японское трехстишие:

Заплыла лягушка
К нам через порог.
Ранняя весна!

На глазах детей проходит не только материнская, но и учительская жизнь, и они примеряют нас на свои худенькие плечики, как в десять лет тайком наряжались во взрослые платья.

Едва добрел,
Усталый, до ночлега,
И вдруг — глициний свет, —

твержу я молча непривычные трехстрочные стихи, думая о своем отрочестве, о том, как и меня освещал внезапный свет человечности, как свет таинственных цветов — глициний. Я отлично помню это подростковое состояние как бы «между» двумя мирами: миром кукол и опрятных тетрадок — и пустотой. Нет, они еще вздыхают, эти взрослые: «Ах, молодость, молодость!» У них все в молодости было прекрасно — чудесно — ясно — прелестно — пусть, может быть, и так, зато сейчас сидят, едят, о какой-то дурацкой работе говорят, подумаешь, инженеры, что они там могут наинженерить, вот над пошлым анекдотом заржали. Чтоб я стала, как они, да никогда! — примерно так я думала в те годы. И поэтому мне жаль девочку Юлю, которая мучается от того, что они с мамой никак не найдут общего языка. Юля пишет мне, что хочет и не может передать матери свое восхищение и преклонение перед мальчиком Сережей: сколько она ни говорит — мама не понимает ее, все задает и задает свой единственный вопрос, такой нелепый: «Ты с ним не живешь?»

Но сейчас я сама мать, и я понимаю эту бедную Юлину маму и ее далеко не такой дурацкий, как кажется Юле, вопрос. Мама спрашивает дочку: «Ты еще не испортила себе жизнь?», только не может объяснить эту свою боль и тревогу, не может найти слова — ее не понимают. И если маму интересует жизнь дочери, то дочь интересует ее собственная жизнь и отношение к этой личной жизни мамы, а не мамина жизнь как таковая.

Дети наши — наше неизвестное будущее, мамы наши — наше неизвестное настоящее. Так много знает Юля про своего Сережу и так мало про маму. Как мама с папой познакомилась, как полюбила его, как вообще это было — мама в Юлины шестнадцать лет, только на самом деле, а не «туфта», как они говорят, и не «мура», как мы говорили. Может, пусть учитель расскажет Юле о ее маме? Но знает ли он о родителях своих учеников такие «мелочи»: кто кого и как любил?

Как трудно быть искренней вообще и со своим ребенком в частности. Никогда не знаю, как помочь в отношениях двоих уже взрослых людей: мамы и дочери. Но мне кажется, надо помнить об этом «недовзрослом возрасте» чуть ли не над колыбелью, надо учиться быть искренней — чем раньше начнете, тем лучше. Часто ли мы вспоминаем при детях свое отрочество и юность? Нет, не «Я в твои годы полком командовала», а всерьез: как ссорились и мирились с друзьями, с родителями, с учителями — а ведь мы ссорились, товарищи бывшие подростки.

Ох, я и ребенком была — страшно вспомнить! По литературе оценки в выпускном классе — пять, два, два, два, пять, пять, два и т. д. Пять — я соблаговолила ответить, «два» — не желаю. По химии, по физике — не выше тройки, а чтоб когда промолчать, если «душа горит» высказать свое мнение, ну конечно, не совпадающее с вашим, товарищ Ионыч! — пусть другие молчат. Самое трудное — преодолеть инерцию сложившихся отношений:

стоило мне хоть на минутку замолчать, просто задуматься о чем-то, обязательно кто-нибудь — или ребята или учителя — спросит: «Ты не заболела? Что-то ты грустная». Приходится постоянно оправдывать их ожидания, и это в конце концов мучительно. В такой ситуации, когда сложился стереотип непонимания, когда стороны страдают в одиночку от того, что не слышат друг друга, но продолжают не слышать, — в такой ситуации нужен третий, и этим третьим может быть кто угодно, можем быть вы и я. Мне все время хочется спросить, не знаю только у кого, когда мне рассказывают о сегодняшних детях: «А дальше?» Ведь это клочочек жизни, лоскутик — а жизнь-то идет дальше, и вот пока мне мать что-то рассказывает, просит совета, уже что-то произошло, что-то сдвинулось, изменилось, и взгляды, и отношения меняются; «и сам, покорный общему закону, переменялся я», так куда они меняются — к сближению, к отдалению от близких?

Та «трудная девочка», которой была я, однажды сбежала из дома. Нет, не в воровской притон и не к любовнику, а пошла я ночевать к подружке. Проболтали мы с ней всласть, поспали, а утром она собралась в школу (в этот момент у нее в отношениях с матерью было затишье, она сбежала из дому ко мне неделю назад). Мне в школу было далеко, да и не убегают из дома, захватив с собой учебники и тетради, так что я и не собиралась на занятия, но и слоняться по улице мне в одиночку не хотелось, а сидеть у Милки дома — тем более. И я пошла в школу к ней. И вот остановимся и представим на минуту ситуацию с другой стороны: вы учитель, и на ваш урок одна из учениц приводит девочку, объясняет, что та ушла из дома, где ее не понимают, навек, а пока посидит у вас на уроке. Что вы сделаете? Учителя моей подружки сказали: «Пусть посидит». Это ей сказали, а мне: «Садись с Милой рядом, а ты (это девочке, что с моей подружкой сидела) пересядь пока вот туда». И как в гостях и хлеб слаще, чем дома, так и мне хотелось отвечать на уроках в этой незнакомой мне школе, и я отвечала, и меня спрашивали — постороннюю! А после уроков меня позвали к директору. Я опять прервусь, чтоб задать вопрос: «Вот вы директор, вот вам говорят, что какая-то девица (см. выше) сидит целый день в вашей школе. — Что вы сделаете?»

А та, чьего имени я и не запомнила — казалось тогда это совершенно не важным, — усадила меня рядом и стала рассказывать мне о своем сыне. До сих пор помню эту историю в подробностях: как он опоздал, а она с ума сходила, думала, он умер, погиб (примечание для детей: мы, матери, всегда так думаем, когда вы задерживаетесь), а он пришел, и она ударила его по лицу. И тогда он ушел — всерьез, насовсем, навек. И сейчас, спустя столько лет, помню, как она спрашивала меня: «Ну скажи, я не имела права, разве я не имела права?» За пять минут до того я бы твердо ответила: «Нет!» Но первый раз в жизни я слышала «другую сторону» и первый раз в жизни не знала, что сказать. А она рассказывала: «Он ушел, а я наплакалась, потом выхожу, а он сидит на лестнице и лицо руками закрыл: „Как я теперь буду жить?“ Сынок, говорю, прости меня, ну зачем ты так, ведь это все мелочи, не стоит так из-за мелочей переживать». И мне: «Ну, скажи, ведь это ерунда, правда? Скажи, ведь не стоит так принципиально к мелочам подходить?» И опять я не могла ответить, потому что впервые в жизни думала о том, что быть матерью — значит страдать.

У меня был друг альпинист (он погиб в горах), я спрашивала его: «Как же вы помогаете в горах друг другу, когда сами висите над пропастью?» И он мне объяснил: «Но чтоб помочь удержать равновесие, нужно совсем немного силы, иногда можно одним пальцем поддержать, ведь человек еще и сам держится».

Все мы как-то связаны друг с другом (не посторонние!), от каждого из нас кто-то зависит. В автобусе, в очереди, кто знает, кому из нас и когда доведется стать хоть на секунду опорой в жизни для чьего-то ребенка.

Мало услышать исповедь — надо найти в себе силы ответить на нее такой же обнаженной искренностью, надо решиться выставить себя на рассмотрение перед неласковым детским взглядом.

Страшно? Больно? Право же, все это только мелочи рядом с нашей взаимной любовью — родителей к детям, детей к родителям. Цель близкая и цель дальняя, методы и приемы, а также конечный результат — это уж они, когда вырастут, определят и оценки нам выставят,

наши дети. А в том, что мы живем и растем вместе с ними, учим их и у них учимся, особой заслугой в том нет.

Кем быть?

Иногда бывает, что способности ребенка заметны, как говорится, невооруженным глазом, и при этом проявляются очень рано. Я бы сказала, не способности даже, а склонность к чему-то. Например, у моего старшего сына тяга к технике наметилась чуть ли не в колыбели. Не было для него лучших игрушек, чем рубанок и коловорот, а если я хотела поспать чуть подольше, я ставила ему в кровать телефон — на 40 минут он замолкал. И этот его интерес ко всему, что движется, гудит, что как-то крутится, был замечен даже со стороны и выглядел как-то неожиданно в семье, где и я и муж — оба филологи. Так и осталось это до нынешнего времени, и его профессия, по-видимому, будет с этим связана. Он уже в девятом классе, начинает думать о выборе жизненного пути. Конкретных планов пока нет, но направление определено — то ли судостроительный, то ли авиационный — строить то, что плавает, летает, движется. Нет, он никакой не вундеркинд, у него и тройки по алгебре бывают, но вот круг чтения, который он сам себе выбирает, связан все с тем же: история флота, история авиации. Он и марки собирает тематически: дирижабли, старинные летательные аппараты, парусники.

Конечно, я его поддерживаю, потому что такая увлеченность вызывает у меня уважение. Нужен ему паяльник, значит, будет паяльник, а как уж мы выкрутимся без этой трешки, что на него пойдет, — это мое дело.

Зато все «болеем», когда у него соревнования по судомоделизму, — ребята с порога бросаются к нему: «Ну как?» А на весенние показательные выступления отправляемся всей семьей.

В кружок он сам записался, и, кроме того, ему повезло с руководителем.

Мне кажется, это довольно редкий случай, чтоб так рано все определилось, у нас в семье больше ни у кого такого нет.

Ваня моложе Сани всего на четыре года, но ничего подобного с ним не было. Ни разу в жизни он не склеил ни одной модели — я и не принуждала его, не говорила: «Бери с Сани пример». Зачем? Если склонность будет, она сама проявится. Так и получилось. В школе у Насти создали музыкальную студию, а у Насти обнаружили способности к музыке. Стала она ходить заниматься и очень увлеклась. Инструмента у нас не было, так она нарисовала на бумаге клавиатуру в натуральную величину и играла. И чтоб Маня, тогда шестилетняя, не завидовала старшей сестре так отчаянно — и в школу-то она ходит, и музыкой-то занимается! — я решила и ее отдать в эту студию. Пришла записывать, а мне говорят: «На фортепиано уже мест нет, хотите на флейту?» И я подумала, что так даже лучше — что-то у Мани будет необыкновенное, чего нет у Насти, — флейта! Но Маня была маленькой и сама ходить на занятия не могла, так что я приспособила водить ее туда и обратно Ваню. Большой плюс большой семьи в том, что дети очень рано становятся настоящими помощниками, на них можно положиться: и через дорогу он младшую сестренку переведет, и одеться поможет, хотя всего-то на два года старше. И надо сказать, ничегошеньки у Мани не получалось: флейта воеет и мяучит, хрипит и хрюкает, но не играет. Мне не хотелось, чтоб она училась легкомысленному отношению к работе — любой, будь то мытье посуды или игра на флейте, но и чувствовала, что долго я не выдержу. Дотерплю, думаю, до конца года, а там решим, как быть, не получается — ну и ничего не поделаешь. И вот раз Ванюшка слушал-слушал, как Маня терзает свою флейту, и не выдержал: «Дай покажу, как надо». И к моему величайшему удивлению, показал: эта хрипая деревяшечка с дырками вдруг чистенько-чистенько спела нотку, одну, потом другую, потом третью. «Ваня, когда же ты научился?» — спрашиваю. А он: «Я же сижу, жду Маню, ну и слушаю, как учитель показывает». Помолчал, а потом спросил: «Мама, а у тебя нет денег, чтоб мне тоже учиться?» У меня даже сердце заболело — да неужто из-за денег я у своего мальчика отниму музыку, целый мир, который я сама не

могу ему дать, — не научили меня, хоть и учили когда-то. Пошла на следующий день с ним к учителю: «Послушайте его». Он послушал, удивился и говорит: «Я бесплатно с ним буду заниматься». И что удивительно — то, что учитель никак не мог объяснить Мане, очень быстро сделал Ваня, когда они стали заниматься вдвоем. Месяца не прошло, как у нее стало получаться не хуже, чем у Вани. Конечно, им повезло и с учителем. Он был совсем еще мальчик, студент консерватории, его через год в армию призвали.

Так сложилось, что он был первым учителем моих детей, а они его первыми учениками. Дети письма ему писали. Маня написала: «Я играю на флейте, и это дело мне нравится. Я скучаю и жду вас домой».

А вот Насте не повезло; одну учительницу сменила другая, потом третья, и увлечение сошло на нет. Силой ничего не сделаешь, только выработается стойкое неприятие любой музыки. Вместо радости общения с красотой возникнет желание зажать уши, когда произносят слова об обещаниях заниматься, о верности этим обещаниям.

«Сын так просил, чтоб купили пианино, а когда купили и отдали его в музыкальную школу, совсем перестал заниматься, мучаемся второй год, не знаем, что делать. Хочется, чтоб он выполнял то, что обещал, он ведь давал слово, что будет заниматься, но и терпеть этот ад нет сил».

Чем меньше в семье поводов для конфликта, тем лучше, а уж специально создавать этот «ад» совсем не стоит. Не может быть, чтоб у ребенка совсем не было никакой склонности. Мне кажется, нужно повнимательнее понаблюдать за ним, ну и конечно, не пропустить ни одного росточка интереса.

Мне вообще кажется, что слишком напряженное старание родителей научить сына или дочь одному и часто случайно когда-то выбранному делу, изучение его на профессиональном уровне обедняют ребенка как человека, лишают его возможности поиска себя, т. е. в конечном итоге своей собственной жизни. Отдадут девочку со способностями в балетную школу — и ничего-то она больше не знает, кроме балета, а потом окажется, что способности-то средние, в Большом не танцевать. Какое горе и для нее, и для близких, как трудно психологически выйти из этой ситуации.

Поголовное увлечение спортом привело к тому, что коньки стали очень дорогими и специализированными, так сказать. У меня ребята подросли, говорят, хотим кататься — что ж, дело хорошее, когда-то я каждое воскресенье с папой на каток ходила. Оказалось, что «просто» купить коньки нельзя, либо фигурные, либо беговые. Но они же не «олимпийский резерв», просто хотят на свежем воздухе побыть, поиграть, посоревноваться друг с другом — такое обычное, казалось бы, дело и чуть не сорвалось. Хорошо, что в комиссионке удалось купить старые «гаги» — им и хороший лед не очень требуется, и универсальные они, правда, тяжеловаты.

«Разбрасывание» интересов, на мой взгляд, не плохо, а хорошо. Уж на что Саня технарь, но вот сейчас он занялся разведением кактусов — так это, мне кажется, отлично. Причем это в некоторой степени Ванино влияние — он не только музыкой увлечен, ему всегда нравилось и нравится все живое: птички, рыбки, улитки, крокодилы. Любимая передача — «В мире животных», любимые книги — о животных. Вечером ложится в постель и зовет пятилетнюю Аську: «Ася, иди, я тебе Даррела читаю». И читает ей «Перегруженный ковчег» или «Путь кенгуренка», наверное, в четвертый или в пятый раз, и оба хохочут над смешными ситуациями из жизни биолога и его зверюшек. Неужели мне считать, что это отвлекает его от музыки? Я ведь не в профессиональные музыканты его готовлю, мне хочется, чтоб для детей имя Моцарта не было пустым звуком, чтоб не дикий грохот «металл-рока» сопровождал их всю жизнь, а мелодии Чайковского. Саня вполне подросткового возраста, но он этой современной какофонией не увлекается, как и никто из детей: у них есть противоядие от этого, они слышали **настоящую** музыку. И вовсе я им ничего не запрещаю — хотят, пусть слушают, но они не хотят. Саня музыкой всерьез не занимается, как и Настя, но занятия Вани и Мани не могут не отразиться на восприятии

музыки всеми членами семьи. Потанцевать — пожалуйста, а вот «балдеть» под дикие звуки — они выросли из этого, хоть и маленькие по возрасту. Маня сама себя определила в танцевальную студию, ей нравится движение, ритм она чувствует и учить ей нравится, вот она и учит Аську танцевать. И эти занятия помогают ей играть на флейте, а занятия флейтой — танцам, а Аська перенимает у нее и то и другое — естественное в большой семье «перетекание» интересов от старших к младшим, и наоборот.

Настя и музыкой пробовала заниматься, и танцами, ни на чем не могла остановиться, пока не попала в кружок изобразительного искусства. Третий год рисует на ткани — получается очень здорово, вполне можно на стену вешать. Конечно, и ее увлечение, как и любое, требует поддержки, в том числе и материальной, — ткань надо купить, краски, кисти, но, мне кажется, на этом не стоит экономить. Гармоничное духовное развитие человека — слишком высокая цель воспитания, чтоб ее можно было измерить в рублях и копейках, но то, что мы вложили сегодня, сторицей вернет наш выросший ребенок обществу. Настя водила и Маню, и даже Асю на выставку во Дворце пионеров «Искусство и революция». Конечно, Ася не очень много поняла, но это не бессмысленное времяпровождение для нее, что-то останется в сознании, даже в подсознании, ощущение праздника от того, что она, как большая, пошла на выставку, чувство красоты — ведь даже грудной младенец тянется к яркой погремушке. Книги по искусству в нашей семье доступны детям, я их не прячу и не закрываю на ключ, чтоб, не дай бог, дети не порвали. Яркие, цветные альбомы с репродукциями исподволь развивают от рождения вложенную в каждого человека способность испытывать эстетическое наслаждение.

Меня расстраивают разговоры о том, что вот, мол, хорошо другим, у них способные дети, а у меня — неспособный. Да еще и при ребенке: «Вон он какой тупой, неспособный, хмурый». Будешь хмурым, если тебе без конца твердят о твоей неполноценности. У моей соседки сынишку-первоклассника не взяли в кружок «Умелые руки» при школе — способностей нет, сказали. Да какие-такие необыкновенные способности нужны, чтоб склеить игрушку из бумаги или аппликацию сделать? Ну пусть криво, пусть косо — ведь и руки не сразу научаются быть умелыми, и душа должна учиться пониманию прекрасного. И как же узнать склонность, если не пробовать? Ранняя профессионализация, может, и не плохая вещь, если будущая профессия угадана правильно, а если нет? Да и кроме того, в жизни нам многое приходится делать непрофессионально, но умело. Я, например, не повар, но готовить-то мне приходится, и я с интересом этим занимаюсь, и дети тоже. Пирог испечь, печенье, пирожные сделать — и мальчики, и девочки на кухне. А ведь пирог не только вкусным, но и красивым быть должен — украшаем его узорами, надписями. В каждое, даже мелкое бытовое дело приходится вкладывать частичку души — так для этого душа не должна быть пустой. Любое детское увлечение работает над ее развитием, и отдача будет не только в будущем, но и сейчас. Ну, например, банку консервную открыть, или гвоздь забить, или лампочку ввернуть — это дело техническое, а значит, Санино. Или, например, его новое увлечение — растения. Предлагает: «Мама, сейчас зелени нет, а давай мы вырастим на окошке салат». Посеяли, а Маня тоже захотела что-нибудь вырастить: посадила лук и сельдерей. Полезно и потому, что витамины, и потому, что красиво — за окном снег, а у нас листики салата взошли, и потому, что дети чему-то научились, и, наконец, потому, что не только для себя это увлечение, — я никогда не забываю подчеркнуть: «Ну-ка, где у нас Маня? Пойди собери урожай со своего лука». А расписать футболки девочкам — ни у кого таких не будет — это Настино увлечение работает. Манина подруга вяжет — как же Мане отстать? Пока совсем не получается, но ей хочется, она старается — глядишь, и получится. И не оторвет ее это новое увлечение от музыки, наоборот, поможет воспитанию усидчивости, аккуратности, а то она вертушка, непоседа, все ей хочется побыстрее. Мир, в котором мы живем, такой прекрасный, такой удивительный, в нем столько притягательного для малыша. Дайте ему пробовать и ошибаться, не принуждайте его, а следуйте за ним в поиске себя, чтоб все, что в нем заложено, раскрылось на радость ему и вам тоже. Не только и даже не столько к профессиональной деятельности надо готовить сына или дочь, а вообще к жизни среди

людей, к соотносению себя, своего поведения и одежды с окружающими. Именно общее развитие, в том числе и эстетическое, поможет вашему ребенку быть любимым и товарищами в школе, и его будущими коллегами, а этого так часто не хватает «омагнитофонному», джинсовому с ног до головы юному перспективному спортсмену. Завидуют ему — да, бывает, подражают и подчиняются — тоже да, но при этом не любят, и ему некого полюбить в ответ.

То, что увидит, поймет, почувствует ребенок в детстве, тот мир всечеловеческой культуры, в который он войдет робким новичком за руку с мамой, или папой, или со старшим братом, останется в нем на всю жизнь. Это бесплатное богатство станет его опорой в жизненных трудностях, поможет осознать себя человеком среди людей. А профессия — он выберет ее сам, когда придет время.

Мне вообще кажется, что в постоянных разговорах о выборе профессии по призванию есть что-то неправильное, показушное. Когда 19-летний мальчик на вступительных экзаменах заявляет: «Педагогика — мое призвание», мне всегда хочется возразить: «Полно, так уж и оно?»

Что это такое — призвание? Может ли быть призванием работа сантехника? И чем занимаются в наше время люди, чьим призванием были профессии бортника, сбитенщика, соколятника? Ямщики по призванию пошли в шоферы, а соколятники по призванию работают зоотехниками? Призвание — слово высокое, как талант, и не к каждому оно применимо, но это не значит, что все, кто «без призвания», работают кое-как, скучно, нетворчески. Не может быть призвания к тому, чего не знаешь, и главное, чему мы должны учить юношей и девушек — умению узнавать и находить радость в узнавании нового. Мне всегда грустно, когда, услышав от меня, что по данному вопросу в науке есть три точки зрения, студенты просят: «Скажите нам, какая правильная, зачем нам остальные?» Это наша вина — мы, взрослые, не научили их, что ненужного знания не бывает, что творчество — дитя ремесла, т. е. знания, умения. В каждом деле — свои секреты и свои мастера, по праву гордящиеся своей работой.

Как-то в пионерлагере наш отряд дежурил на кухне, а на обед была картошка с селедкой. В замешательстве смотрели мы на груды грязной посуды — как мыть? «А надо в холодной воде с хозяйственным мылом», — посоветовала повариха. Попробовали — получилось. «Спасибо за совет», — поблагодарили мы ее. А она с гордой улыбкой: «Недаром же я 6 лет работала посудомойкой!»

Двое мужчин явно случайно разговорились на автобусной остановке. И один рассказывает другому: «Это было, когда мы делали космическую ракету». — «Ты проектируешь космическую технику?» — с уважением спросил собеседник. «Да нет, игрушечную, я инженер на заводе игрушек». — И в ответ на разочарованное «А-а» запальчиво: «А ты что думаешь, это просто? А ты попробуй, чтоб и крепко, и красиво было, и стоило копейки!» И они правы — и посудомойка и инженер, хорошо сделанная работа — законный повод для гордости, для осознания себя человеком.

Мы учим детей, что творчество — это кино, театр, книги, но во всех этих случаях творят актеры и операторы, помощники режиссера и художники, а мы — зрители и читатели — только потребители творчества, не более. «Пусть он повторит то, что я сказала, и я поставлю ему хорошую отметку», — объясняет учительница маме своего ученика. Когда-то кто-то так ее учил, и она сама повторяет то, что прочла в книжке. Прочитал — рассказал — повторил — а потом определил свое призвание — повторять другим и сопоставлять их ответы с эталоном — собой. «Учитель — массовая профессия, не могут же все быть творцами — Макаренко и Сухомлинским», — возражают мне, когда я говорю о необходимости повседневного творчества. Но не так давно массовой «профессией» в России было крестьянин и крестьянка, и именно руками крестьянских женщин вышиты те произведения искусства, которыми мы восхищаемся в музеях: одежда создавалась руками неизвестных женщин, всех без исключения. Помню, как рассказывала мне старушка в деревне: «Зимой начнешь ткать, а сама думаешь: „А как другие?“ Платок накинешь, всех

обежишь, посмотришь и стараешься, чтоб не так, чтоб по-своему». Прялка — подарок жениха невесте, и уж каждый, конечно же, старался удивить свою суженую, сделать как ни у кого. Человек с детства был окружен единственными в своем роде предметами — от полотенца до резного конька на крыше родного дома. Те, кому довелось слышать подлинные народные песни, «не обработанные мастерами», наверняка обращали внимание на их важнейшую особенность: они как бы каждый раз сочиняются заново, те, кто поет, как бы соавторы их создателя.

Творить может и должен каждый, этим человек отличается от животного, и если не научить творчеству, то, говоря по-старинному, душа будет тосковать неизвестно о чем. Я часто думаю — не от того ли так широко распространен пресловутый «вещизм», что это самый примитивный, но все же один из видов творчества — «добыть» дефицитные тряпки и «создать» свой облик человека, «умеющего» что-то.

Если возможно быть творцом в шахматах и в математике, то и бухгалтером быть интересно. И разве работа портнихи не сродни искусству живописи? А серый, рутинный труд есть в самой наитворческой профессии. На всю жизнь я запомнила, как мы в студенческие годы решили подработать и устроились в массовку: «Ой, как здорово, ночные съемки и всех артистов увидим». Мы думали — эта ночь не кончится никогда. «Ну-ка, девочки, повеселей, повеселей, не спать», — тормошили нас «киношники». И снова, и снова, и опять та же, та же, та же сцена, а глаза закрываются, а надо опять ликовать, и хлопать в ладоши, и весело смеяться — естественно и заразительно. И всех нас поразили мужество и человечность Юрия Никулина, снимавшегося в главной роли. После бесконечных повторов, когда наступала пауза, потому что от пота подтаивал грим и его надо было обновить, он находил в себе силы подумать о нас, чьи лица на полминуты неразличимым пятном пройдут по экрану, он смешил и развлекал массовку.

«В жизни всегда есть место подвигу», — объясняем мы детям, но и творчеству — тоже всегда. Вот молодая женщина с сыном лет пяти стоит в очереди за зарплатой. «Мама, зачем мы здесь стоим?» — спрашивает мальчик. «За деньгами». — «А почему их тебе дадут?» — опять спрашивает он. «Заработала». — «Ты работаешь в этом доме?» — не успокаивается сын. «Нет, в другом, здесь я только деньги получаю». Вопросы явно мешают ей о чем-то думать, отрывают ее. «А тогда почему...» — «Да замолчишь ты наконец, что ты ко мне пристал», — раздраженно взрывается мать. Главное дело ее жизни — какое оно? То, за которое она получает зарплату, или вот это — сын даже не обиделся, не надул губы, просто привычно замолчал. Самое творческое дело на свете — растить ребенка, и оно доступно всем, и все мечтают о творчестве, как будто оно где угодно, но не стоит рядом, держась за нашу руку. Может быть, я не права, но мне кажется, что на работе эта мама тоже вряд ли творчески работает, ее отвлекают мысли о чем-нибудь еще — о подруге, например, которая — подумать только — стала журналисткой, или актрисой, или писательницей, а тут сиди и слушай в который раз, как бестолковые студенты спрягают неправильный немецкий глагол. Так что напрасно завидует ей ее школьная подруга, работающая чертежницей: вот творческая работа — преподаватель!

Только в том, что ты хорошо (а еще лучше — если отлично) знаешь, можно быть творцом, и для того чтобы творить, надо сначала научиться делать. Недавно сын рассказывал мне вычитанную им где-то историю о том, как Репину подарили фотоаппарат и он решил сделать групповой снимок. Когда все, кого он собирался фотографировать, разместились перед ним, великий художник стал настраивать аппарат, примерялся и так и эдак, переставлял, отодвигал, придвигал, потом махнул рукой: «Фу, слишком долго!», поставил мольберт и в считанные минуты сделал рисунок. Гораздо более легкое, чем живопись, дело — фотографирование — показалось художнику невероятно трудным, потому что он не умел его делать, а не потому что «призвания» не было. Потому и не было призвания, что не умел. Не о раннем выявлении «призвания» должны мы думать, а о раннем обучении труду, о раннем понимании того, что лишние знания не бывает и без «примитивного» умения ни в одном деле невозможно творчество. Не всем суждено быть Рафаэлями, потому что гений

родится раз в столетие, но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, т. е. не старается работать, «как генерал», творчески.

Захожу на кафедру — сидит девочка-лаборантка, а перед ней груды конвертов, которые надо заклеить и разослать, и она их лижет по одному. Недаром же я когда-то работала в экспедиции — объяснила, как их сложить и как заклеить, чтоб и быстро, и хорошо.

Не только неинтересную работу суждено делать нашим детям, но и «грязную» — кто же поможет им не страдать от железного «надо», если не родители.

Поэтому меня неприятно поразило письмо Н. Филина, члена совета ветеранов войны и труда Ленинского района г. Москвы:

«Однажды в Ленинском РК ВЛКСМ шло обсуждение совместного плана работы райкома комсомола и районного совета ветеранов войны и труда. В разговоре выяснилось: родители в одной из школ запретили своим детям заниматься тимуровской работой. Решением родителей возмущались главным образом женщины. Мужчины помалкивали. Они, очевидно, как и я, вспомнили армейскую и фронтовую молодость: уборные убирались в порядке наказания, в госпиталях дежурных девочек-школьниц раненые не подпускали к „уткам“ — они оберегали их романтически-приподнятый душевный порыв от прозы жизни. И тогда я сказал:

— Тех родителей понять можно. Пожалуй, окажись на их месте, я поступил бы так же...

Всякий труд необходим, но подходит для тимуровца не всякий труд, а лишь тот, который не разрушает эстетику тимуровского движения... Я не очень склонен поручать тимуровцам покупку, скажем, творога или других продуктов, которые долго не лежат на прилавке, моментально раскупаются. При нашем дефиците превращать ребят в расторопных ловкачей, знающих, что, где и когда дают, тоже неудобно. Не дай бог, если они, нетерпеливые, будут состязаться в хитрости обойти очередь».

Вот о романтике, об «оберегании романтически-приподнятого душевного порыва от прозы жизни» я и хочу сказать несколько слов. Нет, наверное, более романтического чувства, чем любовь, но и среди всех любовей самая высокая, пожалуй, материнская. Не потому ли, что, когда в крови и грязи приходит в мир новый человек, некрасивый и беспомощный, мать умудряется в этом комочке плоти разглядеть бессмертную душу. Вспомните, мамы, первые дни материнства: ворох запачканных пеленок, пронзительный крик, бессонные ночи и сонные утра, когда несешь ребенка подмывать, не раскрывая глаз, и так, с закрытыми глазами перепеленываешь. Проза это или высокая поэзия — этот человек, замотанный в тряпки с ног до самой шейки, эта внутренняя улыбка сытости на слюнявых губках, эти кругленькие розовые пятки на пока ненужных ножках. Вот ведь странная штука — не получается любовь на расстоянии, чего-то в ней не хватает. Кто моет попку ребенку, тот и будет его любить. И если мама перекладывает эту работу на бабушку (или если бабушка сама у мамы ее отнимает), значит, и будет любить бабушка, а мама будет удивляться: «Что ты с ним нянчишься?» — это и когда пять лет человеку, и пятнадцать, и двадцать пять. Многодетная семья не знает, к счастью, этой проблемы: как уберечь от «грязной работы»? Никак. И помыть малыша, и горшок вынести, и поиграть с ним, таким чистеньким и симпатичным, — это все в порядке вещей, без всякой жертвенной окраски и самолюбования. Как-то приходит моя дочь-третьеклассница и рассказывает: «У нас мальчика вырвало прямо у доски. Все закричали и выбежали из класса, а мы с Машей все убрали». Меня спрашивали: «Почему именно они?» Ну, Маша — потому, что она подруга Манькина, а моя Маня — да как бы она не стала убирать? Новость какая — тошнит человека! И видали, и убирали, и жалели, и успокаивали — «ничего, ничего, это не страшно, сейчас пройдет». Ей быть матерью — какая уж тут брезгливость, это не женское качество. Надеюсь, это останется в детях на всю жизнь: естественно воспринимать страдания другого человека прежде всего, как бы неэстетично они ни выглядели. Мне с горечью рассказывала

подруга, что, когда больного сына рвет, муж морщится и выходит на балкон — вспоминать армейскую юность, по-видимому. Кошка и та заслуживает сочувствия в своей боли, не только больной человек. Много лет назад брат, тогда мальчишка, принес домой обгорелого котенка. Хвост у него отпал, задние лапы были полупарализованы, ему приходилось делать ежедневную клизму, а как пахнет горелая шерсть и мясо, я запомнила на всю жизнь. Ни маме, ни папе не пришло в голову выкинуть «эту грязь» под предлогом «все равно подохнет», и Черныш жил у нас чуть не 20 лет. И какая же эта была ласковая кошка, с такой очаровательной черной мордашкой, что даже ее страшное увечье было незаметно.

С «грязной работой» постоянно связан самый чистый труд — труд крестьянина. Помните гневные строки Есенина, обращенные в «салонный вылощенный сброд»:

...этот хлеб, что жрете вы,
Ведь мы его — того-с, навозом.

Или сельскому ребенку, как второсортному, не вредит этот самый навоз, а только чистенькому московскому противопоказан?

Не знаю, подходит ли пионерам-тимуровцам труд по уходу за больным и беспомощным человеком, зато знаю, как, по-видимому, многие, что этот труд далеко не всегда подходит комсомолкам-медсестричкам. Бывая в больницах у своих близких, не раз и не два видела привычную картину: весело щебечут хорошенькие беленькие девчушки о своих делах, не слыша, как хрипит человек: «Сестра, сестричка! Няню позовите! Судно надо. Сестричка!» Это не их работа — подавать судно, может, и так, но услышать-то, как можно этот стон не услышать! Они привыкли не чувствовать чужую боль — бедные чистенькие убогие девочки!

Мы много лет делали вид, что все в жизни прекрасно, в том числе и старость, — люди моего и более старшего поколения помнят сладкую и гладкую картину Лактионова на эту тему. Мы долго уверяли сами себя, что ветеран — седой старик с военной выправкой, в орденах и медалях, что бывшая партизанка — добрая, вся в морщинах бабуся, тоже в орденах. Вот им-то, чистеньким, уютным, заслуженным, и должны помогать тимуровцы, а остальным — «Куда прешь, бабка? На кладбище успеешь». Я часто перечитываю чудесную книгу Харпер Ли «Убить пересмешника» и всякий раз заново удивляюсь педагогической мудрости Аттикуса Финча, который посылает своих детей помогать страшной старухе, настоящей бабе-яге, которая к тому же терпеть его не может и, когда приходят дети, прежде всего начинает ругать их отца. Только после ее смерти дети понимают, что эта старуха — сильный и мужественный человек, и другими, видящими, глазами начинают смотреть в лица окружающих.

И еще два слова о родительской власти. Мне кажется, можно заставить ребенка помочь кому-то (хотя лучше бы не силком, а обращением к лучшему, что есть в человеке — состраданию, сочувствию), но запретить помочь?! У меня это не укладывается в голове. Кто же такие наши дети, что они подчиняются таким запретам? И что это за тимуровское движение с высочайшего мамы-папиного соизволения? Здесь есть о чем думать, тем более что, по мнению вполне уважаемого человека, детям вредно не только горшки выносить, но и творог покупать: вдруг они увидят очередь, ай-ай-яй, как неромантично. «Светлое будущее» начинается прямо вот сейчас, когда ребята без команды ничего не сделают: ни в кино не пойдут, ни помойное ведро не вынесут, а будут сидеть и смотреть в телевизор — «Музыкальный киоск», «Наш сад», «Проблемы кролиководства», «Строительство нового чего-то там...» — глаза глядят, а мозг спит без сновидений, а куда девалась та бессмертная душа, которой так любовалась мама десять лет назад, я уже и не знаю. Напрасно надеяться, что к комсомольскому возрасту вместе с усами у сына вырастет человеколюбие, что немощная старость минует нас. Если мы не вырастим себе сиделок, некому будет подать нам ни судно, ни стакан воды, некому будет услышать наш зов: «Доченька!» Так что учить всему этому заранее — в наших интересах. Такая вот педагогическая проза.

Ну а если вернуться к высоким понятиям о призвании и таланте, то могу сказать, что мне повезло в жизни: однажды я видела подлинный, настоящий талант, что называется, лицом к лицу.

Это был вьетнамский юноша, мой студент. Война была в его жизни всегда, пока он не приехал учиться в Советский Союз. И здесь во время культпохода в консерваторию он впервые увидел скрипку и услышал ее голос. И молчавший до того его талант отозвался на внезапный зов. Он поступил в вечернюю музыкальную школу и закончил ее за два года, а днем он продолжал учиться в институте, и отлично учиться, потому что знал, что его знания нужны воюющей Родине. Он перешел на третий курс и одновременно поступил в консерваторию на первый по классу скрипки. Его мама и папа были за тысячи километров отсюда, он жил на стипендию, днем учился, вечером играл, а ночью готовился к занятиям. Худенький мальчик, он старался изо всех сил, но сил этих было не так и много. Он стал учиться в институте хуже, и явно надо было выбрать что-то одно: либо институт, либо скрипку. Но Родине нужны были военные переводчики, а не скрипачи, он не смел сказать, когда осталось два года до выпуска: «Подождите, у меня талант, я начну сначала учиться и через шесть лет, может быть, пригожусь как музыкант». Но и скрипку оставить он не мог, как не мог стать старше сразу на 20 лет, чтоб попасть в мирное время, где музыка нужна больше, чем перевод с английского — языка агрессора. Дело кончилось тяжелой болезнью, бессонницей, и врачи категорически запретили ему играть. И я его навестила в больнице, потому что он был моим учеником. Мы поговорили о том о сем, и вдруг он сказал: «А знаете, я все-таки чуть-чуть играю. Я договорился с истопником и ночью, когда не сплю, хожу в котельную. Вообще-то здесь не слышно, что я там играю, но на всякий случай я обматываю смычок тряпкой и играю молча, чтоб не подвести человека. И я сочинил новую музыку, я назвал это „Тоска по Родине“, вот послушайте, я вам напою...» И начал напевать, помогая себе руками: они держали невидимую скрипку, которая плакала неслышным голосом.

Можно научить жарить яичницу и рифмовать кровь-любовь, трудно не верить в счастливую звезду своего неповторимого ребенка, но при слове «талант» я всегда вспоминаю этого мальчика, сжигающего в полутемной больничной котельной свое здоровье, свою единственную, как и у нас, жизнь в огне этой неслышной другим мелодии. Поистине «И уголь, пылающий огнем, /Во грудь отверстую водвинул» — как когда-то сформулировал это поэт. И я не знаю, хочу ли я этого для своего ребенка.

Зачем?

Люди старшего поколения помнят, наверное, что еще не так и давно женщина с детьми — сколько бы их ни было — не вызывала какого-то особого интереса. У моей няни было 13 детей, из них стали взрослыми 11, и я уверена, что ни разу она не слышала вопроса: «А зачем столько?» Удивление вызывало не то, что родилось 13, а то, что выросло 11 — очень большой процент. Из 16 детей Льва Толстого выжили 8, а в описанном им семействе Ростовых из 12 — 4. Я не врач и не социолог, я не могу профессионально рассуждать о том, как связано бытие с определяемым им сознанием о «нужности» или «ненужности» человеческой жизни, о том, как роды изнуряют женщину, хотя, мне кажется, не столько роды приводили к преждевременной старости, сколько бесконечные детские похороны. Но я — мать, а значит, должна все время думать, смотреть и думать, а не только мыть посуду да выносить помойное ведро. Я часто думаю, что судьба, в общем-то, случайно дала мне возможность жить в соответствии со своими принципами — ведь я могла бы и не иметь вообще детей, ну, например, по состоянию здоровья, еще по каким-нибудь жизненным обстоятельствам. И в результате этой счастливой случайности я и мои дети... мы вдруг оказались в какой-то точке пересечения самых разных общественных взглядов, в каком-то фокусе нравственных, социальных и прочих идей.

В одной статье, написанной женщиной — доктором экономических наук,

занимающейся проблемами многодетных семей, я прочитала о том, что вопрос «Зачем столько детей?» и, как правило, следующий за ним вопрос «О чем ты думала?», конечно, слегка грубоваты по форме, но вполне резонны по существу. Так вот я попробую объяснить, о чем я думала, когда рожала детей. Вернее, даже стоит начать раньше — о чем я думала, когда выходила замуж, потому что я мечтала о замужестве как о возможности осуществить свою мечту — стать матерью.

Я думала, что мы с мужем любим друг друга, что он тоже хочет детей (он не раз говорил мне об этом), что у нас есть профессия, мы самостоятельны материально, а будет мало — так еще заработаем. Я думала, что мне не нужна белая с золотом спальня в стиле Людовика XIV, не нужна хрустальная люстра с подвесками, не нужна норковая шуба. Я думала, что не может быть, чтоб мои дети умерли с голоду сейчас — не война же. Я думала, что мои родители любят меня, хорошо относятся к моему мужу, что его родители души во мне не чают — будут у моих детей любящие дедушки и бабушки. Нет, ни одной минуты я не собиралась перекладывать заботу о будущих детях на наших родителей, потому что мечтала о малышах до слез, но на моральную-то поддержку я могла рассчитывать?

Даже когда моя свекровь не отнеслась к наступившей беременности так восторженно, как я, когда стала уговаривать меня подождать, а попросту говоря, убить будущего внука, я не придала этому особого значения, отнесла это на счет ее материнской заботы о моем муже. «Одно дело теоретический ребенок и теоретические трудности, которые он принесет в нашу жизнь, — думала я, — а другое дело — живой малыш, родной, кровный — внук. Как можно его не полюбить?» Я знаю несколько семей, где первоначально родители были категорически против внука, буквально гнали прочь из дома будущую мать, а потом не могли надышаться на новорожденного, он становился их светом в окошке, радостью, жизнью. В моем случае оказалось не так. Ни разу за все время моего замужества ни свекор, ни свекровь не пришли ко мне в роддом, никто из них никогда не навестил меня в больнице, где я довольно долго лежала с Саней, а потом чуть не год с Настей. С рождением каждого следующего ребенка отношения становились холоднее, а потом и вовсе сошли на нет: Асю родители мужа вовсе не посчитали нужным увидеть, хотя жили в 40 минутах езды от нас, а я никогда не ссорилась с ними. Саня первое время после их окончательного ухода в подполье говорил: «Ася родилась и растет без бабушкиного разрешения». Нет, я не обиделась и не стала точить мужа: твои родители такие-сякие, я приняла этот вариант отношений, как есть. Я думала: мы молоды и здоровы, мы любим друг друга, он любит детей — проживем. Я думала, дети скрепляют семью, делают человеческую связь мужа и жены неразрывной. Оказалось, что на каждое хорошо есть лучше — муж встретил женщину 20 годами моложе меня и ушел к ней. Не об этом ли я должна была думать, рожая детей, вытирая им носы и глядя рубашонки? Или о том, что мой отец, совсем не старый человек, тяжело заболевает, и мать все силы будет отдавать ему, а когда он умрет, то окажется, что она состарилась и я постарела тоже. Или на свадьбе думают о старости, прикидывают, как бы полегче дожить до пенсии, да поуютнее устроиться в Доме престарелых? Неужели есть люди, которые, подводя итоги в шестьдесят, могут весело петь:

«И что было загадано,
все исполнилось в срок...» —

как пели в 19 в будущем времени. У Салтыкова-Щедрина так жил премудрый пескарь: боялся жениться, боялся плодиться, всю жизнь осторожненько просидел под камешком — «жил дрожал и умирал дрожал».

Зачем дети? Затем, что они живут, как я и вы, дорогие читатели. Ну а если нужна какая личная для меня выгода от них, то есть и выгода. Приходилось ли вам ходить по инстанциям? Завидую тем, кому ни разу в жизни не приходилось, но ведь и ходят многие. Помните ли пустые сонные глаза по ту сторону учрежденческого стола? Так вот, когда я говорю, что у меня пятеро детей, глаза просыпаются! Нет, не обязательно в них вспыхивает

любовь к человечеству вообще и к нам в частности, бывает и злость, и чуть ли не ненависть, но они становятся живыми, эти глаза, они глядят на меня и видят.

Есть и еще выгода — у меня нет возможности ныть, потому что много дел, и нет возможности не улыбаться, когда мне улыбается ребенок. Дело, если его делать, прогоняет тоску.

Да, я часто сталкиваюсь с недоброжелательством, да еще с таким, будто я человеку кровный враг, хотя мы видимся в первый и зачастую в последний раз. Но зато и человеческое отношение я вижу чаще, чем «среднестатистическая мама». И каждый раз — это праздник для меня и для ребят, потому что даже если они и не были при этом, я всегда рассказываю им про все доброе, что связано с нашей общей жизнью — жизнью большой семьи.

Надеюсь, что мои дети вырастут с ощущением, что, как говорили в старину, свет не без добрых людей и что самое главное в жизни не стоит ничего — и дороже всего на свете. Когда-то давно мы всей семьей переправлялись через Ленинский проспект, где мы живем. Я толкала коляску с новорожденной Аськой, а старшие держались по двое за руки и за коляску с двух сторон. И пока я их подравнивала и спускала коляску с высокого края тротуара, зеленый свет погас, загорелся желтый, и я начала загонять опять всех на тротуар. И тогда милиционер вышел на середину проспекта и остановил транспорт. И мы все пошли и поехали на красный свет — одни через всю широкую проезжую часть.

Или, например, когда мы первый раз поехали с детьми в дом отдыха «Сушнево», меня остановила на аллейке незнакомая женщина и сказала: «Послушайте, ведь вы за весь этот месяц ни разу не были в кино. Давайте я посижу с вашими детьми, а вы сходите посмотрите». Те, для кого сбегать в кино не проблема, может быть, никогда не узнают того счастливого чувства, с которым я смотрела какой-то вполне проходной фильм, не помню уж и названия. Жизнь научила меня, что, как ни рассчитывай, все равно просчитаешься и найдешь не там, где ищешь. Может быть, говорю я, ничего не исполнится из того, о чем я мечтаю теперь, — а я так хочу увидеть своих детей взрослыми, увидеть хотя бы внуков, а может, и правнуков. Но иногда мне кажется, что я что-то сделала в жизни, когда я и мои дети, и мои друзья, и друзья детей, и те, кого сейчас нет с нами, сидят за столом, а на столе пирог, а рядом елка, а на ней свечи — и мы не слишком верно, зато дружно запеваем:

Маленькой елочке
Холодно зимой...

Подумать только, вдруг бы я послушала кого-то из доброжелателей и чей-нибудь голосок не звучал в этом хоре! Зачем столько детей? Бывает, я зло отшучиваюсь: «Когда они вырастут и сдадут меня в дед-дом, им будет дешевле платить, чем вашему единственному». Как говорится, да минует меня чаша сия, но человек рождается на свет за тем, чтоб одним человеком на свете стало больше — и только.

Друзья говорят, что я романтик, недоброжелатели — дура, но жизнь всегда учила меня, что в итоге-то добра больше, если, конечно, не считать его на рубли и килограммы. Мне бывало в жизни черным-черно, казалось, что так будет всегда, что я одна, что все вокруг чужие, но когда все это прошло и я стала соображать, стала считать по пальцам, кто помогал мне, и не хватило пальцев, и я сбилась на третьем десятке, и начала снова, и опять сбилась. Так и не сосчитала, сколько же было реальных помощников, но мне случалось уже и делиться этим твердым убеждением: горе пройдет и забудется, останется человеческое участие и добро.

Да, человек свободен в выборе — купить машину или родить ребенка, но я верю, что никогда не будет в мнении народном равнозначны дама с машиной и мать с ребенком, верю, что всегда будут жалеть женщину, променявшую материнство на дорогие вещи, которые все-таки не дороже детской жизни. Верю, что мои дети вырастут людьми, а значит, для них главным будет главное, а не цветной телевизор. Мы летели из Грузии самолетом, и когда все

уселись, к нам подошел командир самолета и попросил взять Аську на руки, чтобы посадить женщину с ребенком. Она оказалась москвичкой, опаздывающей с дочкой-дошкольницей домой. «Господи, и откуда он появился, этот легчик? — причитала она. — Давайте, говорит, ее возьмем, она давно с ребенком сидит». И к нему: «Сколько я вам должна?» А он: «Ничего. Вы должны вот этой женщине — то есть мне — она вам место уступила». Меня дети потом, когда мы расстались с нашей попугачицей, спросили: «Ты взяла деньги?» — «Нет, ребята». «И правильно, пусть они нас так помнят», — обрадовались мои дети, мои друзья, мои единомышленники. Вот об этом я думала, когда рожала их: «У меня будут друзья». И когда, уходя на работу, пишу им записки, что купить и что приготовить, всегда кончаю их словами: «Дети, будьте людьми!»